

АЛЕКСЕЙ
АЗАРОВ



ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОВЕСТЕЙ «ОСТРОВИТАНИН» И «ИДИТЕ С МИРОМ»

ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ? ДОРОГА К ЗЕВСУ

ТАЙНЫЙ
ФРОНТ

Тайный фронт

Алексей Азаров

**Где ты был, Одиссей?
Дорога к Зевсу**

«Алисторус»

2026

УДК 82-312.4:355.40
ББК 84стд1-445.7:68.23-2

Азаров А. С.

Где ты был, Одиссей? Дорога к Зевсу / А. С. Азаров —
«Алисторус», 2026 — (Тайный фронт)

ISBN 978-5-00269-511-9

Продолжение истории советского разведчика болгарского происхождения Слави Багрянова, уже знакомого читателю по повестям «Идите с миром» и «Островитянин». В повести «Где ты был, Одиссей» события разворачиваются во Франции и Германии в 1944 году. Главный герой, действующий под именем французского коммерсанта Огюста Птижана, намеренно попадает в руки гестапо, где его принимают за английского шпиона... В повести «Дорога к Зевсу» действие переносится в Берлин в последние месяцы Второй мировой войны. Здесь главный герой действует уже под именем Франца Лемана. Его задача — выйти на след бригаденфюрера Варбурга по прозвищу «Зевс»... Осенью 1978 года на советском телевидении состоялась премьера трёхсерийного телефильма «Где ты был, Одиссей» снятого по мотивам одноименной повести.

УДК 82-312.4:355.40
ББК 84стд1-445.7:68.23-2

ISBN 978-5-00269-511-9

© Азаров А. С., 2026
© Алисторус, 2026

Содержание

Где ты был, Одиссей?	6
Глава 1	6
Глава 2	10
Глава 3	16
Глава 4	22
Глава 5	27
Глава 6	32
Глава 7	39
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Алексей Сергеевич Азаров
Где ты был, Одиссей?
Дорога к Зевсу

© Азаров А. С., 2026

© ООО «Издательство Родина», 2026

Где ты был, Одиссей?

Глава 1 В гостях у Циклопа. Июль, 1944

Одноглазый Циклоп – лучший мой друг. Мы это с ним установили вчера. Он так красочно и горячо расписывал перспективы, открывающиеся передо мной, если я всегда и во всем буду держать его руку, что я едва не бросился ему в объятия. Только врожденная сдержанность помешала мне сделать это. Мы скрепили договор о дружбе кружкой-другой светлого пива и решили, что на свидание с Кло явимся вдвоем.

Впрочем, лукавый Циклоп нарушил слово и прихватил в кафе приятелей. Сейчас они сидят за угловым столиком и со скужающими физиономиями потягивают аперитивы. С нами они не разговаривают и даже не смотрят на дверь, откуда должна появиться Кло Бриссак, двадцати двух лет, прелестная и таинственная.

Если Циклоп мой друг, то Клодина – моя гордость. Рост сто пятьдесят семь, талия пятьдесят пять, размер обуви – тридцать третий. Согласитесь, такое встречается не каждый день. Если же к перечисленным достоинствам добавить родинку на левой щеке, голубые глаза и длиннющие волосы, волшебством парикмахера превращенные в старое золото, то, право, легко понять Циклопа, загоревшегося желанием познакомиться с Кло, и чем скорее, тем лучше. Ради такого случая он даже переоделся в новенький костюм, узковатый в плечах, и заколол свой бордовый, очень корректный галстук жемчужной булавкой.

Утром, готовясь к свиданию, Циклоп так волновался, что выкурил лишнюю сигарету. Десять штук в день, – вот та норма, которую он себе определил во имя долголетия, и ровно десять слабеньких «Реемтсма» уместается у него в портсигаре. Об этом я узнал вчера во время душевной беседы, равно как и то, что дома у него невеста – премилое существо, с коим он обручился еще в сороковом.

– А как же свидание с Кло? – спросил я. – Господь, освящающий браки, не прощает измены избранницам, даже если они совершены в помыслах, а не действии.

– Бриссак – особый случай. И потом, кто она – женщина или призрак? Или, быть может, плод вашей, фантазии?

– Я реалист.

– Вы? – очки Циклопа нацелились в мою переносицу. – Милый мой, да вы или сущее дитя, или фантаст почище Гофмана. Три месяца знакомы с вашей Кло, а не знаете адреса и, бьюсь об заклад, ни разу не слазили ей под лифчик.

– Так оно и есть.

– Так или не так, я это выясню. Если, конечно, Клодина Бриссак не призрак. В последнее время, знаете ли, я столь часто имею дело с призраками, что считаюсь в наших кругах доктором оккультных наук. Вы меня поняли?

– Еще бы! – сказал я и пожал плечами.

При желании мне ничего не стоило поразить Циклопа деталями, которые на известный срок развеяли бы его сомнения, но я предпочитаю приберечь их напоследок, на тот стопроцентно возможный случай, если Кло не явится в кафе. Ночью я так долго думал о ней, что вся жизнь Клодины, просмотренная, как лента фильма, запечатлелась в моей памяти: знаю я и склонности Кло, и ее сокровенные привычки, и особенности, вроде манеры растягивать гласные в слове «милый».

– Так где же ваша крошка? – спрашивает Циклоп и постукивает ногтем по стеклу часов.

Ноготь хорошо отполирован и вычищен. Кожица у основания подрезана. Я слежу за рукой Циклопа и думаю о том, что у него удивительно красивые пальцы: длинные, тонкие пальцы пианиста или аристократа.

– Еще не вечер, – отшучиваюсь я. – Да и где гарантия, что Фогель не напутал? Говорил же я вам, что на могиле несколько кашпо, и было бы лучше, если б я сам поставил гвоздики куда надо. А ваш Фогель...

– Ни слова о нем!..

Правый, живой глаз Циклопа, увеличенный стеклом очков, с пугающей быстротой приобретает мертвенную холодность левого, фарфорового. В голосе проскальзывает резкая нота. Уловив ее, двое за столиком в углу угрюмо настораживаются и смотрят в нашу сторону.

– Успокойтесь, Шарль, – говорю я и медленно, не расплескав ни капли, подношу ко рту чашку с остывшим кофе. – Согласитесь, что я прав: Фогель не производит впечатления первого ученика.

– Скажите-ка это ему.

– Ну нет! Хирурги дерут втридорога, особенно когда имеют дело со сложными переломами... Но я не об этом, Шарль! Просто мне кажется, что на кладбище нужно было ехать нам с вами. Второе кашпо слева в нижнем ряду и три крапчатых гвоздики, и Кло прочла бы мой призыв: «Приходи завтра!»

Живой глаз Циклопа тихо оттаивает.

– Или наоборот, – говорит он с полуулыбкой. – «Не приходи никогда». Три махровые гвоздики и еще какой-нибудь пустячок, о котором вы мне позабыли сказать. Так может быть?

Беседовать с Циклопом одно наслаждение. Он строит фразы легко и изящно, и где-нибудь в светском салоне я бы мог ошибиться и принять его за маменькиного сынка с приличным состоянием. В своем кабинете он явно не на месте. Письменный стол слишком огромен для него, а пуританские формы полевых телефонных аппаратов диссонируют с его белоснежными рубашками из батиста и очками в тонкой золотой оправе. Когда я впервые увидел его за столом, то с грустью понял, что судьба подкинула мне чистое «зеро».

Очевидно, флюиды и прочие импульсы, рождающиеся при работе мозга, все-таки существуют, ибо Циклоп вдруг накрывает мою руку своей, почти бесплотной, и мягко говорит:

– Не надо волноваться, мой друг.

– С чего вы взяли?..

– Ну, ну, только не лгите. Я же вижу: вам не по себе. Сознайтесь, что Кло – мираж в пустыне, и мы сейчас же поедem домой. Ну как?

– Подождем.

– А не зря?

– Чего вы хотите? – говорю я серьезно. – Чтобы я взял и вынул вам ее из кармана?.. Черт возьми, я больше вас заинтересован в свидании. Если мы уедем, а она придет, кто проиграет? Не вы же?

– Будь по-вашему, Мюнхгаузен! Гарсон, еще два кофе. Не очень крепких.

После полудня в кафе пусто. Девушки, забегающие сюда, чтобы за бокалом оранжада посплетничать о любовниках и купить у буфетчика из-под полы пару чулок «паутинка», – все эти Мари, Розы и Люлю с кожей той нежной голубизны, что свидетельствует о постоянном недоедании, давно уже разошлись по своим конторам, шляпным мастерским и салонам мод. Кафе, как и весь Париж, в промежутке с часу до четырех – зона пустыни, и только мы застряли в нем, как бедуины на привале.

– Пейте, – говорит мне Циклоп и отставляет свою чашку. – Договорились – еще полчаса? И баста!

– Кло придет. Вы получите ее, Шарль, а я получу...

– Ну и характер! Вы и в аду открыли бы мелочную лавку! Признайтесь, мой друг, у вас в роду не было торговцев?

– Только чиновники.

– Ах да, колониальная администрация в Марокко. Странно, почему у вас такая кожа серая, ни мазка загара? Законы наследственности на вас не распространяются?

Все та же игра! Третьи сутки подряд. Я изрядно устал от нее и к тому же хочу спать. Сейчас Циклоп начнет вытягивать из меня подробности относительно моего детства или расположения улиц в Марракеше или спросит, сколько франков стоил до войны на базаре праздничный наряд туарега. Мелочи, сотни мелочей, которые он ухитряется проверять с феноменальной быстротой. Вчера к концу разговора, когда Фогель, раза три встававший и уходивший куда-то, вернулся в последний раз и положил на стол какую-то бумажку, Циклоп, бледно улыбаясь, уличил меня во лжи относительно расположения бара в мадридском отеле «Бельведер». Я пытался спорить, но Фогель быстренько вычертил план, и мне ничего другого не осталось, как сослаться на плохую память.

– К тому же я жил там сутки, – добавил я как можно небрежнее.

– Но названия коктейлей помните?

– Все просто: за каждый из них я платил... Я всегда помню, что именно приобретаю на свои денежки... А бар – справа он или слева, какая разница?

– Очень любопытно, – сказал Циклоп. – Очень, очень любопытно, как расходятся взгляды у разных людей на один и тот же предмет. Фогель оплатил ваши счета в пансионе и утверждает, что вы настоящий мот. Сами вы признаетесь, что скупы, как Гарпагон, и знаете цену каждому сантиметру. Мне вы не представляетесь ни тем, ни другим – здравомыслящий реалист, и только. А вот доктор – помните его? – убежден, что вы сумасшедший и тот припадок, который сразил вас вечером, есть следствие органических изменений центральной нервной системы.

– У меня был припадок?

– А разве... Не помните?

– Смутно. Что-то белое и синяк на левой руке.

– Халат врача и гематома – вы так рвались, что доктор пропорол вам вену иглой. Давно это с вами?

– Было в детстве, потом прошло. Нет, я не сумасшедший!

– Я тоже так думаю, – кивнул Циклоп. – Для шизофреника вы слишком логичны. Даже то, как вы через Испанию попали в Париж, убийственно логично. Кстати, где у нее родинка, у вашей Кло?

– На левой щеке, – сказал я и попросил сигарету.

Когда я прикуривал, пальцы у меня дрожали.

Сейчас я слежу за собой и радуюсь: кофе в чашке недвижим. Черный кружок и замершая в центре соринка – микроокеан и тонущий кораблик Одиссея. Одиссей – это я. Все есть на моем пути: и бури, и плач сирен, и жуткий бег между Сциллой и Харибдой, и хозяин пещеры Циклоп. Где ж ты был, Одиссей, куда тебя носило?

Циклоп с непроницаемым лицом смотрит на часы. Белый манжет, перехваченный жемчужной запонкой, свободно свисает с узкой руки. Она так женственна и артистична, что кажется, еще миг – и ей дано будет вспорхнуть над возникающими из складок скатерти клавишами, и Бетховен встретит Кло, входящую в кафе, гимном, достойным ее красоты.

– Полчаса прошли, – говорит Циклоп деловито и поправляет выскочивший манжет. – Пора домой. Там мы побеседуем о наших делах в спокойной обстановке. Согласны? Заодно я буду рад услышать от вас, как и когда вы придумали сказку о Клодине Бриссак. И зачем вам она понадобилась – это я тоже не прочь узнать.

– Фогель перепутал кашпо...

– Фогель ли перепутал кашпо, вам ли потребовалось показаться кому-то в моем обществе – все это вещи, достойные размышлений. У нас с вами впереди бездна времени для бесед по душам, и чутье говорит мне, что беседы эти будут очень, очень откровенными... Допивайте свой кофе.

Двое встают из-за столика и, не дожидаясь, пока Циклоп отсчитает деньги, выходят из кафе. У них прямые спины, обтянутые стандартными пиджаками, и грубая обувь военного образца. Такую солдаты вермахта сбывают на черном рынке около Триумфальной арки. Там же, у арки, кулисье торгуют валютой всех стран мира. Один из них и продал мне ту самую двухфунтовую бумажку с радужными разводами и тонкими штрихами защитной банковской сетки.

Гарсон отсчитывает сдачу, а я пью свой кофе. Мне-то совсем не хочется спешить...

Мы выходим на улицу, на самое пекло, и горячий тротуар Елисейских полей мягко приминается под моими каблуками. Небо – синее с белым, ни дать ни взять океан, по которому Одиссею уже, пожалуй, не плыть никогда. Разве что мысленно... Я невесело усмехаюсь про себя банальности сравнения и иду вместе с Циклопом к машине. Двое в военных башмаках шествуют сзади и подпирают меня взглядами.

«Мерседес» стоит за углом, охраняемый шуплым субъектом в шляпе с перышком. Когда мы приехали, он уже ошивался тут, возле афишной тумбы. Усики и цепкий взгляд странно не вяжутся с отлично сшитым дорогим костюмом; из бокового кармана торчат тонкие перчатки. Субъект открывает дверцу, пропускает Циклопа и сильным движением толкает меня в задний отсек машины, куда уже успели забраться парни в стандартных пиджаках.

– Садитесь и вы, Фогель, – говорит Циклоп. – Мы потеряли два часа.

Фогель с треском захлопывает дверцу и, раньше чем машина берет с места, защелкивает наручники на моих запястьях. Шляпа с перышками царапает мою щеку.

– Осторожнее, – говорю я. – Он выбьет мне глаз, Шарль.

– Ну, ну, Фогель...

– Все в порядке, штурмбаннфюрер. Я только надел браслеты... Я его и пальцем не коснулся...

– Еще успеешь, – негромко говорит Шарль, он же Циклоп, он же СД-штурмбаннфюрер Карл Эрлих.

И «мерседес» устремляется по улицам Парижа от центра к периферии. Именно там, подальше от деловых кварталов, в Булонском лесу, расположилась пещера моего Циклопа. Называется она просто и со вкусом – гестапо.

Я закрываю глаза и думаю об Одиссее, кораблик которого занесло чертовски далеко от родных вод... Впрочем, какой я Одиссей? Меня зовут Огюст Птижан. Сын отставного чиновника из Марракеша Луи-Жюстена Птижана и Флоры, урожденной Лебрие. Мне тридцать семь лет; у меня слабое сердце, одышка и плоскостопие, сделавшее меня негодным к призыву в тридцать девятом; и главное – мне очень надо жить...

Глава 2

Кое-что о странствиях. Июль, 1944

Главное – мне очень надо жить. И Эрлих это превосходнейшим образом понимает. Понимает он и то, что ни один человек на свете, оказавшись в моей шкуре, не станет исповедоваться с детским простосердечием. Посему он в третий раз на протяжении утра выслушивает рассказ Огюста Птижана о том, зачем и почему Птижан перебрался весной из Марракеша в Париж. Надо отдать ему должное: слушать он умеет.

– Ну вот, – говорю я, добравшись наконец в своем повествовании до злополучного отеля «Бельведер». – Там-то я и решил, а не попробовать ли счастья в Барселоне? Мне сказали, что суда в Марсель ходят довольно часто и что с испанским паспортом у меня не будет затруднений... Продолжать?

– Да, да, конечно, – вежливо говорит Эрлих и склоняется над стопкой бумаги. Стопка лежит идеально прямо, но штурмбаннфюреру что-то не нравится, и он подравнивает ее металлической линейкой, сдвигает на пару миллиметров вправо. – Не забудьте, пожалуйста, подробности поездки... Любые мелочи важны... Хотя что я – у вас, мой друг, такая память, что мы с Фогелем не устаем поражаться. Вы не увлекались мнемотехникой?

– Нет... Но вы правы: память у меня хоть куда!

Слова, слова! Я изливаю их таким могучим потоком, что Рона в сравнении с ним показалась бы жалким ручьем. Однако Эрлих готов тратить и время, и терпение, выслушивая импровизации Огюста Птижана, а Фогель, человек в общем-то, как мне кажется, желчный и экспансивный, ни звуком, ни жестом не выражает протеста и, согнувшись в три погибели над громоздким «рейнеметаллом», знай выстукивает себе которую по счету страницу протокола. Печатает он одним пальцем, но быстро и записывает все дословно. Машинка сухо потрескивает, и я, описывая маршрут Мадрид – Сарагосса – Барселона, чувствую себя знаменитостью, дающей интервью...

Я думаю о Фогеле, и возникает пауза, разрушаемая Эрлихом. Он не любит, когда я останавливаюсь.

– Вы что-нибудь забыли?

– Я устал.

– Скоро отдохнете, – говорит Эрлих с намеком. – На чем он запнулся, Фогель?

– На Сан-Висенте-де-Кальдерс. Перечитать?

– Не стоит, – говорю я. – В Сан-Висенте я сошел с поезда и пересел в автобус. Большой автобус марки «бенц», с багажным отделением наверху.

– Почему перешли?

– Какая-то авария на станции. Говорили, будто вагон сошел с рельсов или выворотило шпалы... Не помню... Это было шестнадцатого апреля, можете проверить.

Эрлих кивает и принимается выравнивать стопку бумаги на столе. Вид у него скучающий. Чтобы немного взбодрить штурмбаннфюрера и подогреть его интерес, я, описывая поездку, вспоминаю несколько деталей, таких как синий берет на водителе и перебранку между ним и огромной, неправдоподобных форм валенсийкой, севшей в Виллафе. Сбиться я не боюсь, ибо все так и было – автобус, синий берет и валенсийка, оравшая на весь салон, что она, хотя и заняла два места, заплатит за одно, поскольку в правилах не оговорено, что плата удваивается, если щедрый господь награждает женщину добротной задницей...

В этом месте рассказа вновь возникает пауза, но уже не по моей вине. Микки, в плиссированной юбочке и приталенном мундире шарфюрера СС, аккуратно постукивая сапожками, входит в кабинет и, выдохнув: «Хайль Гитлер!», сменяет Фогеля за машинкой. «Наконец-то!» –

облегченно роняет Фогель и пересаживается на подоконник, чтобы немедленно приступить к своему излюбленному занятию – подпиливанию ногтей.

– Добрый день, мадемуазель, – говорю я Микки. – Прелестная сегодня погодка, не так ли?

У СС-шарфюрера точеные ножки и невыразительное личико, украшенное прической в стиле Марики Рокк. Насколько я знаю, немки в Париже, досыта объевшись «Девушкой моей мечты», все как одна украсили себя валиками надо лбом и подвитыми локонами сзади и за ушами. Некоторым это идет, но помощницу Эрлиха постигла неудача. Марикой Рокк она не стала, зато приобрела удивительное сходство с диснеевским Микки Маусом – очень противным, на мой вкус, мышонком. Микки не долго размышляет над ответом.

– Скажите ему, чтобы он заткнулся, штурмбаннфюрер! – изрекает она и ловко перебрасывает влево каретку. – Или он заткнется, или я ему врежу в пах. Еврейская свинья!

Эрлих долго и с интересом разглядывает нас обоих.

– Он не иудей, шарфюрер.

– Все равно пусть заткнется!

– Уже заткнулся, – говорю я кротко, чтобы доставить Микки удовольствие. – Однако как же с Барселоной, штурмбаннфюрер? Рассказывать или не надо? Госпожа шарфюрер против того, чтобы я здесь трепался...

Я все жду, что Эрлих однажды сорвется, и тогда будет то, что рано или поздно должно быть: крик, удары, сломанные кости и вывернутые суставы. Не понимаю, почему он церемонится с Огюстом Птижаном? Четверо суток я заговариваю зубы, потащил гестаповцев в кафе, куда якобы должна была явиться Кло, отпускаю шуточки – и все безнаказанно. Будь на месте Эрлиха статуя Бисмарка, и у той лопнуло бы терпение.

Все же последняя моя реплика заставляет штурмбаннфюрера побледнеть. Бледнеет он своеобразно – сначала кровь отливает от лба и подбородка, подчеркивая розоватую сетку на скулах, потом сереют сами скулы, и наконец белеет нос, весь за исключением кончика, который светится, словно тлеющая сигарета.

– Не зарывайтесь, Птижан, – тихо говорит Эрлих. – Сумасшедший вы или просто лжец – дело третье. Но что вы шпион, у меня сомнений нет. Надеюсь, нет их и у вас?

– Как раз наоборот...

– Хватит! Давайте о Барселоне. Где вы останавливались там?

– В «Континентале».

– Где питались? В ресторане? На каком этаже?

– На втором.

– Чушь. В Европе все рестораны без исключения расположены на первом.

– А в «Континентале» на втором. Боже мой, сколько можно твердить об этом?.. «Континенталь» стоит на Рамбла-де-Каталуна, в пятидесяти шагах от площади Де-Каталуна и в ста от улицы Пассо-де-Грасиа... Нетрудно проверить.

– Когда открывается ресторан? Утром, в полдень?

– Утром он работает недолго, а по-настоящему открыт вечером, с восьми.

– Опять лжете?

– Да нет же, – говорю я и пожимаю плечами. – Чистейшая правда, хотите присягну на Библии? Вам знакомо такое понятие «сиеста»?

– Ну? – поощряет меня Фогель, отрываясь от ногтей.

– Сиеста – послеполуденный отдых. Днем в Барселоне спят, ходят в кино и обедают. В апреле тоже, хотя жара еще не столь убийственна. Кинотеатры открываются в одиннадцать, а рестораны в восемь или в девять. Это легко проверяется. Рассказывать дальше?

Дальше ничего нового не последует. Я опять, в пятый раз, упомяну о Гомесе, продавшем мне паспорт, опишу во всех штрихах от ватерлинии до клотика «Лючию», плавающую под флагом нейтральной Коста-Рики, повторю историю, как сошел в Марселе ночью и до утра

прятался в пустом пакгаузе, а утром, пользуясь беспечностью часового, выскользнул за ограду порта и, не мешкая, ринулся на вокзал, на парижский экспресс. Восемьдесят четыре часа с перерывами мы – Эрлих, Фогель и я, – занимаемся набившим оскомину вопросом о моей поездке из Марокко во Францию, поездки, предпринятой ради спасения Алин Лекрек, нареченной Птижана, застрывшей в Париже с первых дней оккупации. Восемьдесят четыре из девяноста шести часов, прошедших с момента моего ареста гардистами, истратившими треть суток на оформление документов и бессистемные побои.

Меня взяли в метро в одиннадцать с минутами. Черт разберет, что уж там померещилось сухопарому молодцу в брюках-гольфах, буравившему остренькими глазками пассажиров на станции Распай. Он стоял у выхода и, повинуясь одному ему известным причинам, положил мне руку на плечо. Документы мои были в порядке, костюм безупречен, и я без опаски сунул гардисту удостоверение и пропуск комендатуры. Пропуск был, разумеется, фальшивый, но выглядел лучше настоящего – печати жирно сияли черной краской, все подписи были на местах. «В порядке», – сказал гардист, и в этот миг к моим ногам, скользя по подкладке, сухим листом спланировал двухфунтовый банкнот Британского королевского банка. Бежать было некуда, и молодчик, захватив мою руку по всем правилам каратэ, потащил меня наверх, где и сдал гардистскому патрулю.

Восемь часов спустя штурмбаннфюрер Эрлих в полной форме приехал за мной во Дворец юстиции и с Острова перевез в Булонский лес. Гардисты были недовольны, но возражать не посмели и даже помогли мне почистить пиджак – восемь часов они старались выбить из меня показания, где тайник с валютой: костюм от Вуазена и хорошие манеры арестованного привели их к твердому выводу, что Огюст Птижан имеет отношение к спекулянтам из-под Триумфальной арки. В силу этих причин пиджак мой к моменту прибытия Эрлиха напоминал лохмотья театрального нищего. Эрлих, брезгливо морщась, подождал, пока гардисты орудовали платяной щеткой; фарфоровый глаз его при свете ламп исторгал молнии, тогда как живой с неподдельным интересом исследовал многочисленные синяки и ссадины на моем лице.

Усталость, побои, напряжение – все, вместе взятое, кончилось тем, что в Булонском лесу я свалился в припадке; явился некто в белом, я заплакал, потом захохотал и скатился в бесформенную бездну, откуда выкарабкался только к следующему утру. С тех пор мы почти неразлучны с Эрлихом; я говорю, он слушает и никак не хочет сорваться с тормозов...

– Рассказывать дальше? – повторяю я и, оглянувшись, посылаю Микки роскошную улыбку: пусть видит, что я не сержусь на нее.

Эрлих не торопясь выходит из-за стола и присаживается рядом с Фогелем на подоконник. Скрещивает руки на груди и на миг задумывается.

– Значит так... – начинаю я.

– Стоп! – говорит Эрлих и зевает, прикрыв рот ладонью. – К чему спешить, милейший? Повторите-ка мне, от «а» до «зет», как вы ехали из Мадрида в Барселону. И не ошибитесь, ради бога. Поняли?.. Ну валяйте, а мы с Фогелем послушаем; мы страшно любим слушать, не так ли, Фогель?

Черт бы его побрал, этого Эрлиха! Бесконечные повторы медленно, но верно ведут штурмбаннфюрера к цели. Не родился еще человек, способный изложить одну и ту же историю полдюжины раз кряду и при этом ни разу не спутать деталей, не сбиться, не обмолвиться – словом, не подарить опытному следователю пару-другую зацепок, ухватившись за которые он может найти искомое. Преимущество Эрлиха состоит и в том, что он не делает попыток навязать мне волю, а равнодушно ест все те блюда, что я готовлю на своей кухне.

– Я устал, – говорю я, и на сей раз чистейшую правду.

Эрлих поднимает брови.

– Вот как? Но мы еще и не начинали беседовать по-настоящему... Ну, ну, Птижан, не хитрите. В ваших интересах не портить отношений. Вчера вы признались, что занимаетесь

шпионажем в пользу голлистов и назвали связную, явку, опознавательный сигнал на кладбище. Будь я легковвернее, мы бы этим ограничились и списали бы вас в Роменвилль. Залп – одним голлистом меньше...

Слезы наползают мне на глаза.

– Я лгал, господин Эрлих... я думал...

– Что спасете этим жизнь? Ах, как неразумно!.. Повторяю: окажись я легковвернее, все было бы кончено. Подвал, третья степень, а затем форт Роменвилль и залп из семи винтовок... Цените нас с Фогелем, дорогой Птижан! Вы живы, вас обхаживают как принцессу – и все для чего? Во имя гуманизма? Отчасти! Во имя буквы закона? Тоже верно, но не совсем. Просто и Фогель и я – порядочные ребята, считающие, что и в наш жестокий век не перевелись романтики... Ваша любовь к Алин, ваши поиски любимой – такая история близка моему сердцу. И вот я подумал: а почему бы и нет? Почему бы и не поверить влюбленному, вдруг он не лжет?.. Тогда не Роменвилль, а концлагерь и интернирование до конца войны. Улавливаете разницу?

Мягкая, обволакивающая боль сжимает мое сердце, и лицо Эрлиха, покачнувшись, начинает плыть перед глазами... Я знаю, что это такое, и изо всех сил цепляюсь за стул. Ногти скребут по дереву, откалывая остренькие щепочки... Сейчас я начну смеяться, а потом Фогель и Эрлих взвываются к потолку и будут летать надо мной, долбя клювами череп... Нет!.. Я-то точно знаю, что я не сумасшедший... Это все доктор Гаук, это он сказал, что у меня не в порядке с головой... Чепуха! Я здоров и отлично помню, как ехал из Мадрида в Барселону. Сначала поездом, а затем в автобусе; шофер может это подтвердить. Он не посмеет лгать, зная, что жизнь ближнего зависит от его слов... Вот он стоит в углу – синий берет и рубашка с закатанными рукавами... Эй, парень! Подтверди Эрлиху, что ты вез меня из Сан-Висенте!..

Спокойствие приходит ко мне – прочное и умиротворенное. Теперь, когда шофер здесь, в гестапо, я могу и поспать. Я укладываюсь на перину и зажимаю глаза, совсем как в детстве, когда засыпал под стук ходиков с кукушкой... Впрочем, нет! Не было ходиков! Ничего не было, и детства тоже...

Сон наваливается на меня, вдавливая в перину, окутывает мраком и теплом. Из душного тепла выходит доктор Гаук, халат его хрустит, а голос подобен хрустальному звону...

...С острым звоном лопается горлышко здоровенной ампулы, и я прихожу в себя. Врач в белом халате поверх черной формы, помогает мне вскарабкаться на стул и мощной лапой перехватывает мою руку у запястья.

– Ну как?

Это Эрлих.

– Все то же, штурмбаннфюрер.

А это врач – доктор медицины Гаук; его я, честно говоря, опасаясь больше Эрлиха и Фогеля, вместе взятых.

– Что вы предлагаете? – спрашивает Эрлих равнодушно, словно меня нет в комнате.

– Исследование спинномозговой жидкости – пункцию, штурмбаннфюрер. Тогда мы будем знать наверняка. Можно попробовать и барбитураты внутривенно – субъект растормаживается и говорит все, следуя за потоком сознания. Минуты две, не меньше. Очень эффективно при распознавании симуляции.

– На сколько вы его возьмете?

– На сутки. После пункции придется лежать.

– Но допрашивать можно?

– Конечно. Только не поднимайте его с постели.

– Хорошо. Я все обдумаю и сообщу решение. Свободны!.. Все свободны, и вы тоже, Фогель. Шарфюрер, оставьте мне протоколы. Перерыв, господа...

Врач, Фогель и Микки покидают комнату. Микки выходит последней, успев послать мне недобрый взгляд. Пробую по привычке ответить ей улыбкой, но губы словно одеревенели и

плохо слушаются меня. Эрлих спрыгивает с подоконника и достает портсигар из нагрудного кармана.

– Голова... – говорю я.

– Голова кружится? Пустое, все пройдет. Все проходит в нашем мире, мой милый!

– Тривиально...

– А что не тривиально? Жизнь? Смерть? Чем вы отличаетесь от двух миллиардов двуногих, и почему я, штурмбаннфюрер Эрлих, трачу на вас время? Не догадываетесь?

– Нет, – говорю я довольно твердо.

– Ладно, закуривайте. И не изображайте сумасшедшего. У вас это неплохо получается, но думаю, что пункция и барбитураты подведут черту под спектаклем. Слышали, что сказал врач?

– Черту под спектаклем? Вы скверный стилист, Эрлих!

Штурмбаннфюрер чиркает спичкой и ладонью отгоняет сигаретный дым. Выпускает тонкую струйку, целясь мне в глаза.

– Отлично! Чувство юмора всегда при вас, точно кожа, мсье Птижан. Следовательно, вы не лишились способности рассуждать здраво и давать оценки происходящему? Я прав?

– Допустим.

Слабость еще не прошла, но я уже не цепляюсь за стул. В ампуле, вероятно, был сильный стимулятор. – такое ощущение, будто я хватил добрый стаканчик коньяку и сейчас балансирую на границе между трезвостью и опьянением.

– Тогда курите, – говорит Эрлих и, протягивает мне портсигар.

– Трубка мира?

– Все может быть...

– А как же третья степень? Я все жду и жду!

Эрлих прищуривается и убирает портсигар.

– Всему свой срок... Слушайте внимательно, Птижан. У меня три версии. Первая – вы шпион. Вторая – донкихотствующий романтик. Третья – сумасшедший. Последние две мы пока оставим и сосредоточимся на первой. За нее так много аргументов, что затрудняюсь пересчитать. Но вот вопрос – кто вас послал? В Париже вы три месяца – мы проверили, и оказалось, вы не лжете... Клодина Бриссак? Может быть, вы выдумали ее, а может, и нет. Во всяком случае, полагаю, в кафе вам требовалось побывать... Итак, кто вас послал? Это самое основное. Вчера вы сказали: французы. Сказали без колебаний и не испытывая при этом видимых мук совести. Но разве так предают своих? Полноте, Птижан! Не считайте меня новичком!

– Я и не думал...

– Стоп! Сейчас моя очередь говорить... Четверо суток вы врете мне, хотя и знаете, что банкнот лежит здесь, в столе; Алин Деклерк в Париже никогда не проживала, а при обыске в пансионе найдены кое-какие вещички, купленные вами не во Франции!

– Белье? – словно вспоминая, говорю я. – Белье с английскими метками? Но оно продается в Рабате в любой лавке.

Эрлих кивает.

– Верно. Во всем, что касается Рабата и отрезка Марракеш – Барселона, вы довольно точны. И знаете – я вам верю. Вы приехали именно оттуда, из Марокко. Вот почему я и утверждаю, что за вашей спиной не французы, а более мощная и богатая организация. Разведка господина де Голля не в состоянии затратить столько франков на переброску. Англичане, без особых фокусов, переправляют агентуру голлистов через Ла-Манш – и скатертью дорога!.. Другое дело – вы. Сам выбор маршрута говорит за то, что Огюст Птижан не рядовой агент, а фигура покрупнее! Много крупнее. Если же помнить, что «Бельведер» и «Континенталь» – фешенебельные отели, то – вы следите за моей мыслью? – мсье Птижан вырастает до размера колосса... Какое у вас звание, мой друг? Майор? Или еще выше?

– Маршал Франции!

Раз Эрлиху хочется видеть меня колоссом, то почему бы не присвоить себе любой высший ранг, вплоть до генералиссимуса? Мне это ничего не стоит.

– И вот еще что, – добавляю я небрежно. – Алин Деклерк действительно никогда не жила в Париже. Мне страх как не хотелось, чтобы гестапо рылось в доме будущего тестя. Кому этого захочется, верно? Но еще меньше мне улыбается быть расстрелянным в качестве агента. Поэтому, господин Эрлих, не сообразовали ли вы взять карандаш и записать настоящее имя моей невесты? А заодно и ее старый адрес – по нему она проживала до сорокового... Прошу вас, пишите: 8-й район, улица Гренье, 6, Симон Донвилль. Ее семью знает вся округа. Заодно консьерж скажет вам, что три месяца назад я справлялся о Симон. Думаю, он не откажется удостоверить мою личность. А теперь – нельзя ли сигаретку? У вас ведь «Реemtсма»? Очень приличный сорт...

Иногда это полезно – подбросить в костер полено потолка. Парадокс из области физики: пламя отнюдь не увеличивается, а, напротив, убывает, и иногда надолго. Кроме этого полена, у меня в запасе есть еще несколько, одно лучше другого.

Словом, поживем – увидим.

Глава 3

Циклоп, Гаук и сукин сын Фогель. Июль, 1944

Поживем – увидим. Авось да небось. Сколько веков утешается человечество этими суррогатами реальных надежд? Лично меня они не обольщают. И я говорю себе: «Огюст, ты хороший парень, но ты вляпался в скверную историю. В лучшем случае тебя без особых хлопот шлепнут как-нибудь поутру в заболоченном рву старого форта Роменвилль. Будет солнечно и тихо, и меланхоличные лягушки проквакают тебе отходную. Однако десять против одного, что Циклоп и Фогель вытянут перед этим из тебя жилы, а ты только человек, и как знать, не сболтнет ли твой язык чего-нибудь лишнего?..»

Вечером СС-гауптштурмфюрер доктор Гаук сделал мне пункцию. Сделал мастерски – я и не почувствовал, как игла вонзилась между позвонками, слабый скрип – и только. Я сидел на стуле лицом к спинке и глазел на стену, где ползали большие черные мухи. Таких почему-то называют мясными. Мухи ссорились и склочничали, точно домохозяйки в коммунальной кухне. Пока Гаук выкачивал спинномозговую жидкость, мухи успели передрались, а Фогель, присутствовавший при операции, мрачно морщась, советовал мне не дожидаться результатов анализа и выкладывать правду.

– Сукин ты сын, – сказал я ему, намеренно разделяя слова. – Тебя разве не учили, что давать советы – привилегия старших? Ты думаешь, если напялил черный мундир, так сразу стал умнее всех? Или нет?

– Заткнись!

– О, как страшно!.. Ты действительно сукин сын, Фогель. И еще трус. Ставлю голову, что после высадки прачка не успевает приводить в порядок твои кальсоны. А когда союзники возьмут Париж, ты продашь всех, и фюрера тоже, вымаливая себе местечко под солнцем. Вот оно как...

Гаук не успел сменить позицию и стать между нами: черный и стремительный – сущая пантера! – Фогель метнулся ко мне и нанес апперкот, сделавший бы честь самому Джо Луису. К счастью, Гаук уже извлек иглу: я установил это, вынырнув из обморока; в противном случае остатки дней своих Огюст Птижан провел бы с двумя дюймами крупновского железа между позвонками.

Гаук взял меня под мышки и водрузил на стул.

– Вот что, – сказал он с мрачным юмором. – Вы выясняйте, кто есть кто, а я пойду. Только учтите, штурмфюрер, потом не просите меня собирать целое из осколков.

Фогель сосредоточенно погрыз ноготь.

– Хорошо, гауптштурмфюрер. Но пусть он помолчит.

– Не слушайте, вот и все.

Говоря, Гаук раздвинул мне веки, надавил на переносицу.

– Посмотрите на мой палец... Сюда... А теперь сюда...

По спине у меня текло что-то мокрое и горячее. Может быть, кровь. Я скосил глаза, следя за пальцем Гаука... До операции он изрядно помучил меня всевозможными манипуляциями: стучал по колену молоточком, заставлял стоять на ребре сиденья стула, чертил перышком решетку на груди. Судя по всему, он взялся за меня всерьез.

– Доктор, – сказал я. – Я хочу рисовать. Пусть мне дадут карандаши, я нарисую на стенке козлика. Я рисую, как Модильяни, даже лучше Модильяни.

Гаук негромко заржал, показав крепкие желтые зубы.

– Вам мало прогрессивного паралича?

– Что-нибудь не то?

– Козлик – ближе к шизофрении. Хороший сумасшедший должен знать симптомы...

Гаук марлевой салфеткой вытер мне спину и одним движением прилепнул наклейку.

– Одевайтесь!

– А как же козлик? – запротестовал я. – Дадут мне карандаши?

– Дайте ему их, штурмфюрер, – сказал Гаук и снова заржал. – Пусть рисует. Я, знаете ли, собираю сувениры.

– Еще что?

– А ничего. Шесть часов он должен лежать на брюхе и не двигаться. Пусть ему принесут горшок, а то, чего доброго, попрется на парашу. Ясно?

Они ушли, а я остался, лег на койку и закрыл глаза. Еще шесть часов. А что потом? Наверно, барбитуратова проба. Две минуты болтовни, не зависящей от моей воли и отражающей поток сознания. Значит, имена, адреса, даты...

Одеяло прилипло к мокрой от пота спине. Толстое добротное одеяло с пышным ворсом и тканями руническими знаками в углу. Клеймо СС.

Шесть часов... Из них три, похоже, прошли...

Я лежу на животе и мягкой алюминиевой ложкой рисую на линолеуме длинноногого козленка. Мордочка выходит хоть куда, но все же чего-то не хватает. Чего? Ах да! Рогов нет... Черенком ложки я пририсовываю козленку два штопора и длинную бороду, похожую на мочалку... Мне никто не мешает. В комнате я один, а в двери нет глазка. Обыкновенная комната и обыкновенная дверь, разрисованная масляной краской под орех. Раньше здесь, должно быть, жила прислуга.

Плохи твои дела, Птижан. Хуже некуда.

Впрочем, так ли это?.. Граф Монте-Кристо сидел в каменном мешке, выдолбленном в скале одинокого острова. И то ухитрился бежать. Славный герой Дюма-отца обломком чего-то там – кажется, кувшина или миски? – сумел проложить себе ход в тверди. Трудно же ему было! Многопудовые гранитные блоки, вековая известь, твердая как алмаз... Чем я хуже Монте-Кристо? У меня есть ложка, а стены особняка сложены из обычного кирпича, связанного в два ряда.

Посмеиваясь над Птижаном, пасующим перед не бог весть каким препятствием, я прихожу к твердому выводу, что герои романов были из другого теста. Ну какой я герой? Стену и то сломать не могу, да и внешность у меня заурядная – так, человек из толпы...

Я пририсовываю козлику хвост-пупочку и думаю, что это за штука – барбитураты внутривенно? Насколько наркотик развязывает язык, и что можно наболтать за сто двадцать секунд? Очевидно, сильное опьянение, резкое снижение контроля, расторможенность и все такое прочее... Да, невесело...

Надо за что-то зацепиться и не дать себя сбить. Клодин Бриссак?.. Что ж, пожалуй, годится. Держись за нее, Птижан! Наркотик будет делать свое, а ты тверди: Клодин, Клодин, Кло, Клодин Бриссак. Тысячу раз повторяй и рисуй ее: руки, голос, лицо... Ладно, с этим ясно. А сам я кто? Пусть будет Одиссей. Сумеешь ли ты построить цепь ассоциаций от Одиссея к Гауку и Эрлиху? Гаук и Циклоп... Давай попробуем все подряд: Клодин Бриссак, блондинка, живет в одиннадцатом районе, адреса не знаю; Гаук – белый халат; Циклоп, Циклоп, Циклоп... Медленнее! Иначе не заполнишь две минуты... Итак, Клодин Бриссак – подруга Одиссея. Где ты был, Одиссей?.. Не так. Это уже за гранью дозволенного. Одиссей никуда не выезжал за пределы Рабата и Марракеша. Только в Париж – через Мадрид и Барселону.

Козлик, козлик, где ты был?.. Мой козлик с рожками штопором – почтенный домосед. Час назад я создал его, поместив слева и наискосок от кровати, и он все еще торчит там и даже пупочкой не шевелит. Мне бы так – раз и навсегда стать на своем и ни на дюйм не двинуться в сторону.

Что нашли при обыске в комнате? Белье с английскими метками. Почтовую бумагу: такой здесь нет в продаже. Тоже английская. Фогель, вернувшись из пансиона, приволок в гестапо

не только мой чемодан, но и бумажный пакет, куда, по-видимому, собрал мусор из пепельниц и корзинок. Сукин сын, этот Фогель; он примитивнее Эрлиха и ждет не дождется часа, когда тот позволит ему спустить с меня шкуру. Боюсь, однако, штурмбаннфюрер не даст ему перестараться.

Вечер сейчас или ночь? Не знаю. Окно снаружи забито досками, ни черта не разберешь... Пока мне ни разу не удалось спровоцировать Эрлиха и вызвать у него ярость. Врачи говорят, что у меня слабое сердце, долгих побоев я не выдержу.

Каждый знает, на что он идет. Я с самого начала считал себя наименее подходящим к будущей роли. У меня было время отказаться – неделя, кажется. На третий день пришел и сказал: «Согласен». Почему?... Нет, я вовсе не пересмотрел взглядов на самого себя. Говоря «согласен», я по-прежнему считал, что ничего толкового не выйдет. И все же – почему я согласился? Была одна мысль, несущественная на первый взгляд. Коротко сформулированная, она уложилась в пять слов: «Но ведь кто-то обязан решиться?» Этим «кто-то» мог оказаться семьянин, отец детей, прекрасный муж, сын, брат... жених, в конце концов! А Огюст? Ни кола ни двора и сам себе хозяин. Одиноким прохожим в толпе из числа тех, что всегда берет два билета в кино и один предлагает незнакомой девушке. Только так почему-то случается, что девушка, видите ли, пришла с кавалером, и вот – сердце не камень! – ты отдаешь ей и второй билет, а сам бредешь домой, где ждут тебя книга и остатки завтрака, накрытые газетой.

Одиночество... Но нет, не оно было причиной, когда я сказал: «Согласен». Причина в ином, и, конечно же, поверьте, не в соображении, что дело, за которое я взялся, легче делать холостяку, нежели семьянину, озабоченному женой и детьми. Не в этом суть! Мое дело не профессия. Профессия – это что-то иное. Отоларинголог, электрик, продавец бакалейного товара, астроном, водопроводчик, наконец, – все они действуют, повинаясь своей разумной воле и дисциплине, получая денежный эквивалент труда и более или менее гордясь пользой, приносимой повседневно. Но вот канатоходец – это профессия? Или нечто иное, искусство, что ли, без которого, разумеется, человечество вполне способно обойтись, как рано или поздно оно обойдется и без специалистов вроде Огюста Птижана?... Я гляжу в потолок и думаю, что если рассматривать мое дело как службу и только, то легко сравнить Огюста Птижана с профессиональным воякой, сражающимся, поскольку война – его ремесло... Ну уж нет, не так! Выбирая, я знал одно: я не профессионал, но меня мобилизовали на защиту раньше, чем миллионы солдат. Я защищаю общество и идею, и мне не до белых перчаток! Профессия? Нет. Осознанная необходимость, помноженная на огромное до бесконечности понятие «долг»!

Вот оно, главное – долг. Перед собственной совестью, людьми и идеями, без которых жизнь Огюста Птижана теряет смысл. Он держит меня в своих жестких, но разумных рамках, мешая сейчас разом избавиться от всего: опустошающих мозг допросов, предстоящей боли и медленной, изуверски затянутой смерти. Ах, как это красиво выглядит – броситься на Эрлиха и получить пулю! Эффектная сцена, требующая замерших от волнения зрителей и исполненных пафоса слов о грядущем возмездии убийце. Но если разобраться, то это был бы не героический финал, а паникерское бегство с передовой, та преподлейшая трусость, за которую расплатиться пришлось бы другим... 25 июля... До этого дня я обязан жить – и не просто выторговывать часы и сутки, но всеми средствами добиться того, чтобы дверь моей камеры приоткрылась хотя бы на толщину бумажного листка. Иначе подлинное грядущее возмездие отодвинется на миг или секунду, и тысячи людей умрут, ибо каждый краткий миг войны оплачивается кровью... 25-е... А потом?... «Тот, кто ставит много целей, не достигает ни одной». Так сказал один мудрый человек, учивший Огюста Птижана уму-разуму в не очень отдаленном прошлом. Святые слова! Но стоп, Огюст!.. Прошлое твое подобно туману, оно почти эфемерно, и думать о нем все равно, что ловить ветер сачком... Девушка, многодетный «кто-то», причины и следствия... Было это или не было? Как знать... Скорее всего, ты все это выдумал, Птижан, – и про билет в кино, и о разговоре, закончившемся словом «согласен»... Да, Гаук прав: ты сумасшедший.

С самого детства. Все, что было когда-нибудь с тобой, – ирреальность, бред, перемешанный с обломками бытия, искаженными свихнувшимся сознанием. Твердо помнишь ты лишь то, что Кло Бриссак живет где-то в одиннадцатом районе и у нее родинка на левой щеке.

«Не так уж мало!» – думаю я и, не поворачивая головы, улыбаюсь входящему в комнату Эрлиху. У него характерные шаги, чуть шелестящие, я различу их среди тысяч других.

– Как вы себя чувствуете? – говорит Эрлих и садится, закинув ногу на ногу. – Хочу вас обрадовать. Симон Донвилль действительно жила на улице Гренье. Ее семья съехала оттуда в сороковом. Консьерж припоминает, что месяца три назад его кто-то спрашивал о Симон. Остается уточнить несколько мелочей, чтобы убедиться, что мы с вами имеем в виду одну и ту же особу. Где она работала или училась?

– Симон?.. Она ушла из лицея. Летний сезон проболталась на побережье, рисовала пейзажи, но дело не пошло, и она бросила живопись. А осенью, кажется, в сентябре, подруга устроила ее манекенщицей в «Бон Марше».

– В универмаг?

Я вовсю стараюсь, чтобы ответ звучал гордо.

– Самый знаменитый в Париже, штурмбаннфюрер! Расположен на улице Севр и занимает целый квартал. Золя описал его в романе «Дамское счастье». Не читали? Да, универмаг, самый прославленный и самый старый, основан в 1852 году.

– Такая точность!

– Я польщен, штурмбаннфюрер.

– Пустое, Птижан. Просто я плачу дань вашим способностям. И вот еще что – обострите, пожалуйста, вашу память до предела. Сейчас придет Гаук, и мы сделаем маленький эксперимент, о котором договорились утром. Вы не станете возражать?

– Напротив, – говорю я любезно. – Здесь вы хозяин, действуйте не стесняясь.

– Разумно... Но не разумнее ли отбросить стыдливость и откровенно все рассказать? Если вы захотите, исповедь останется между нами... Понимаете, наш химик очень заинтересовался бумагой... той, что мы взяли в пансионе. Он утверждает, что на ней водяные знаки Ливерпуля; и фактура характерна именно для ливерпульской... Так что ж, «правь, Британия, морями»?

– Ни в коем случае! «К оружию, граждане, равняйтесь, батальоны!»¹

– Упрямство не приводит к добру... Входите, господа!

Фогель входит первым и, обогнув кровать, останавливается в изголовье. Покачивается с носка на каблук и, не сдержавшись, потирает руки. Для контрразведки такие, как он, не годятся. Слишком легко дают выход эмоциям, низкая организованность мышления, мстительность и связанная с ней повышенная самооценка. Эрлих из иного теста. Эрлих и Гаук. Им можно наплевать в лицо, наступить на мозоль, задеть за самое живое – глазом не моргнут, стерпят... до известного часа, конечно.

Эрлих отстраняет Фогеля, ставит стул возле моей головы, садится и кладет руки на колени.

– Лежите смирнехонько, и все будет хорошо.

Гаук черными каучуковыми жгутами перехватывает мои запястья и, развернув левую руку ладонью вверх, привязывает концы жгутов к раме подматрасника. Белый халат его пахнет валерьянкой и чем-то сладким, трупным.

– Валяй, клистирный мастер, – вяло говорю я, следя за тем, как тонкая игла шприца вонзается в набухшую вену. – Будь здоров, Циклоп, поверь, я и не шелохнусь...

– Что он несет? – спрашивает Фогель. – Уже действует?

¹ Строчки из Британского гимна и французской «Марсельезы».

Светлая жидкость в баллоне «Рекорда» убывает, облизывая деления. Гаук разжимает пальцы, и наполовину опорожненный шприц повисает, оттопырив вену иглой. Доктор накладывает руку мне на запястье, щупает пульс и издает довольное ржание:

– Все нормально.

Ничего особенного. Голова ясная, только тело горит. Жар постепенно подбирается к плечам, шее, перебрасывается на затылок и концентрируется там – круглый, пышущий, как шаровая молния. Почти приятно... Мне становится весело, и я показываю Гауку язык.

– А ты не дурак, – говорю я, и голос мой звучит музыкально. – А Циклоп... ой, не могу... Ну и сволочи же вы, господа! Боже мой, какие же вы все сволочи!.. И все вы боитесь будущего... Ведь так?.. Союзники придут в Париж и прихлопнут вас всех до одного. Слышишь, Фогель?

Меня распирает от желания смеяться и говорить. Я пьян, и понимаю это, и все-таки ничего не могу поделать. Я должен, обязан, я просто не имею права болтать пустяки – мне страшно нужно сказать Циклопу все, что я о нем думаю.

– Ха! – говорю я и захлебываюсь смехом. – Вот те на... Циклоп, ты думаешь, я шпион? Так оно и есть... Шпион, ну и что здесь такого? Я с детства любил подглядывать и всегда шпионил в классе для учителя...

Не так плохо. Но наркотик еще только начал действовать. Сколько еще я смогу контролировать себя?.. Минуту? Или чуть больше?.. Только бы не проговориться!

Эрлих кладет мне руку на голову и треплет волосы.

– Что же вы замолчали? Говорите. Циклоп – это я? Очень, очень метко, хотя и обидно... Ну, я слушаю вас.

В ушах у меня начинает шуметь. Кто-то поднес к ним огромную раковину, выплескивающую из горловины звуки прибора. Море... Я гулял по берегу и собирал цветные камешки. Надо ли говорить о камешках?

– Значит, Циклоп? – повторяет Эрлих медленно. – Очень забавно!

Мозг мой намертво схватывает слово. Одно слово – Циклоп.

– Одиссей, – слышу я свой голос. – Я Одиссей... а ты Циклоп. И Гаук. И сукин сын Фогель...

– Одиссей?

– Ну конечно же... Это я...

– Это кличка? Прозвище? Имя по коду? – Эрлих говорит отдельно и настойчиво.

– Имя по коду?

– Одиссей и его Пенелопа... Клодин Бриссак, Кло, у нее родинка на щеке.

Я говорю быстро и не могу остановиться. Слова сами по себе повисают на кончике языка и срываются с него каплями; я ощущаю вес и вкус капель; их много, сотни, и я не в силах ими управлять... И в то же время я – а может, не весь я, а только какая-то часть? – слышу себя со стороны и со страхом жду, когда вместе с другими сорвется капелька, обтекаемая, кругленькая – Люк... «Забудь о нем, Огюст!»

– У меня бред, – успеваю сказать я, чувствуя, что мне не удержать эту проклятую каплю. – Я болен... Одиссей доплыл... Не бывает сумасшедших шпионов... Не бывает. Мне говорили... что я болен...

Слишком много сил ушло. Я построил длинную и более или менее связную фразу, но больше не могу. Все летит в тартарары, а мне безразлично. Отупев, я смотрю, как Гаук надавливает на поршень шприца. Туман ползет на меня, скрывая его руку, стену... все...

Я что-то говорю. Мозг еще работает; в нем мерцает какая-то лампа, не выключенная наркотиком. Но себя я больше не слышу. Кто-то пишет в тумане яркими буквами «Кло Бриссак»; стирает и выводит новую запись – «радист Люк, улица...».

И опять на миг я прихожу в себя, чтобы вытолкнуть в воздух бессмысленное: Циклоп, Гаук, Одиссей. Шаровая молния в затылке взрывается и погребает адрес и полное имя радиста... Сказал или нет?

Глава 4

Почти тот свет. Июль, 1944

Сказал или нет? Совсем немного времени требуется, чтобы убедиться: сказал...

Эрлих встречает меня у дверей кабинета и молча указывает на кресло. Мягкая кожа, простеганная ромбиком, принимает Огюста Птижана и оседает, спружинив. Штурмбаннфюрер садится напротив. Он наряден и чуточку торжествен.

Какое сегодня число? Девятнадцатое?.. Меньше чем через неделю контрольный день в моем банке. Если я не явлюсь двадцать пятого и вместе с кассиром не обреvizую содержимое абонированного сейфа, трио в составе кассира, одного из директоров и бухгалтера вскрыет его и сверит содержимое с описью. Таков порядок. Старинный порядок, заведенный на тот случай, ежели клиент заболел, умер или забыл нанести визит в контрольный день. «За последние двести лет, – сказали мне в банке, – у нас не было случаев пропаж. И все же мы установили контрольные дни – в интересах самих клиентов, естественно». Значит, в моих интересах... Черт бы драл всех этих господ, пекущихся о клиентуре. В данную минуту меня куда более утешило бы, если б в банке на протяжении двух последних столетий пропажи из абонированных сейфов стали массовым явлением. По крайней мере, тогда я мог бы надеяться, что из портфеля, лежащего за семью замками, исчезнет тонкая пачка бумажек, читать которые совсем не обязательно служащим банка... Вся надежда на Люка. У него есть доверенность, и он знает защитный шифр. Люк говорил, что кассир – вылитый Дон-Кихот! – похоже, связан с Сопротивлением. Если Люка не допустят в хранилище, возникнет обидный парадокс – Дон-Кихот из франтиеров своими руками передаст гестапо частные бумаги Огюста Птижана, любая из которых будет стоит Огюсту головы!..

Эрлих мизинцем поправляет бутоньерку и наклоняется ко мне.

– Ну как, выпались, Птижан?

– Голова, – говорю я. – Что за дрянь, которой меня пичкали вчера? Никак не могу протрезвиться.

– Кофе?

– Не откажусь.

Эрлих дотягивается до стола и придавливает фарфоровую кнопку звонка. Говорит Микки, сунувшей нос в кабинет:

– Два кофе, шарфюрер. И скажите Фогелю, чтобы позвонил мне через полчаса. Где Гаук?

– Откуда мне знать? – говорит Микки нелюбезно и трясет прической а-ля Марика Рокк. – Вечером он был в казино.

– Свободны, шарфюрер!

Микки с треском захлопывает дверь, а Эрлих, натянуто улыбаясь, поворачивается ко мне.

– Хорошая девочка, но никакого понятия о дисциплине. И притом мечтает об офицерских погонах. Ее отец старый член партии, начинал еще со Штрассером...

– Вы не боитесь?

– Упомянуть Штрассера?.. Что ж, сейчас не модно воздавать тем, кто почил после «чистки Рема». Карл Эрнст, Штрассер, Хайнес... Кое-кого из них я знал, а с Ремом работал в штабе СА. Я ведь из СА, Птижан. И, поверьте, мне приходится нелегко в СД. Случается, что коллеги косятся... и вот оно, следствие – шарфюрер Больц. Я не раз предупреждал ее, что не люблю, когда сотрудники без моего ведома общаются с руководством. Но что поделаешь: бригаденфюрер Варбург питает к ней слабость... Вы понимаете, что я имею в виду?

– Постель или доносы?

– Всего понемножку. Бригаденфюрер еще не стар. Больц давно получила бы повышение, если бы не Штрассер. В штабе СС слишком хорошо помнят, что партию создали он и Дрекслер, а не фюрер... И не всем это нравится...

– Сложное положение, – говорю я сочувственно.

Эрлих оживляется.

– Вы так думаете? О, как вы правы!.. Бригаденфюрер считает людей СА вторым сортом и подчеркивает это на каждом шагу. А я терплю... Вы знаете, Одиссей, что значит для таких, как я, терпеть унижение? Молчать и говорить «Так точно!» и «Никак нет!»? Варбургу, видите ли, не по душе мои методы. Старомодные и негермански гуманные! А Больц... Хотя что я – все это не слишком интересно. Не так ли? У нас с вами столько общих проблем, что пора перейти к ним. Вы согласны, Одиссей?

Я киваю и принимаю из рук вошедшей Микки чашку кофе. Вдыхаю крепкий аромат, но думаю не о кофе, а об Эрлихе. Из какого он теста? Я мало что знаю о штурмбаннфюрере: умен, в меру начитан, в меру культурен и вежлив. С претензией на оригинальность... Но кто и когда утверждал, что враг обязательно должен выглядеть кретином, этакой волосатой гориллой без проблеска мысли на челе?.. Меня подмывает спросить Эрлиха, где он потерял глаз. На Восточном фронте?..

– Вы воевали, штурмбаннфюрер?

– Да, во Франции. А потом я служил в зондергеррихте, Одиссей.

– Особый суд?

– Я юрист по образованию, доктор права.

– Берлин?

– Нет, Гейдельберг.

Юрист, доктор права, старый бурш и ни единого дуэльного шрама на лице. Об этом стоит подумать... Нет, он не похож на труса. Здесь что-то иное.

– Одиссей – это псевдоним? – быстро спрашивает Эрлих и достает из внутреннего кармана свежий платок. Проводит кончиком по губам.

– Собственного изготовления.

– Не понял?..

Коротко, чтобы не тратить драгоценного времени штурмбаннфюрера, я объясняю ему, что означают Одиссей и Циклоп.

– А Фогель?

– Так и живет безымянный. Знаете, не сложилось...

– Зовите его Хароном, – серьезно советует Эрлих и прячет платок. – Я не шучу. Фогель перевез на тот свет столько народу, что старина Харон лопается от зависти. У нас в СД, дорогой Одиссей, есть все – и река мертвых, и авгиевы конюшни, и свой столп – бригаденфюрер Варбург... Так вот, от вас зависит, с кем вы предпочитаете иметь дело, с Циклопом или Хароном.

– Так далеко зашло?

– Хуже некуда. Считайте сами. Фальшивый пропуск, пробелы в биографии, английские метки и радист Люк, живущий на улице...

– Это еще кто?

– Вы спрашиваете меня? – говорит Эрлих и поднимает брови. – Слабо даже для экспромта. Минута на размышление вас не устроит, Одиссей? А больше, честное слово, на таком вопросе не выиграешь.

– Но я не знаю никакого Люка!

– Так уж и не знаете? Полноте, Одиссей!

– Я уже сказал... Вы же не осел, Эрлих, и слух у вас преотличный. Или не надо рассчитывать на вашу догадливость, а следует просто послать вас подальше?

– Рискните...

– Ну и подонок! – медленно и словно рассуждая вслух, говорю я. – В первый раз встречаю такого покладистого мерзавца. Ему хоть горшок с дерьмом на голову надень, он и то вытерпит! Еще чего доброго сочтет, что это рыцарский шлем, жалованный за заслуги на турнирах.

Под конец я не выдерживаю, и почти кричу, и... трезвею от тишины. Эрлих, потирая серую щеку, долгой паузой, словно точкой, подводит итог моему взрыву. Мне и на этот раз не удалось вывести его из себя.

Губы Эрлиха складываются в высокомерную улыбку.

– Я не тороплю... Хотя... Слушайте, Одиссей! Давайте в открытую. Бригаденфюрер санкционировал третью степень – я возражал, но без успеха. Фогель позвонит мне, и если вы не разговоритесь, ничьи молитвы не спасут вас... Согласен, о Люке вам тяжело начинать... Может быть, лучше займемся Клодиной Бриссак?

Кло Бриссак... Еще одна оплошность Птижана... Я никогда не знал ее и даже имени не слышал до того утра, когда Люк сказал мне, что Бриссак приедет из Тулузы и будет ждать на вокзале. В принципе я не должен был с ней встречаться, но так уж все совпало – связной слег, а тот человек в Тулузе отказывался брать что-либо, кроме фунтов стерлингов. От него шла хорошая информация, и Люк свел меня с кулисы; мы, поторговавшись, заключили сделку; мне посчастливилось с такси, и прямо от Триумфальной арки я поспел на вокзал – за минуту до отхода тулузского скорого. Деньги ухнули как в прорву в бисерную сумочку Клодин, пожилой провинциалки с жидкими волосами, убранными у висков. В спешке я и не заметил, что один банкнот застрял в бумажнике... А на обратном пути меня взяли... Пока гардисты ногами выколачивали из Огюста Птижана признание о тайнике с валютой, старина Огюст успел-таки вспомнить, что имя Клодин Бриссак записано им утром твердым карандашом типа 4Н на клочке газеты и что клочок этот, по всей видимости, остался в удостоверении.

Жалостливая история о бедном влюбленном, застрывшем в Париже, сулила передышку как минимум в сутки. Все-таки служба безопасности не каждый день сталкивается с молодчиками, признающимися, что они нелегально прибыли в оккупированную Францию из свободного Марокко. Эрлих поначалу клюнул на нее, но, увы, ненадолго. Фальшивые пропуска не продавались на черном рынке, а если и попадались, то все в них было стопроцентной «бронзой» – от бланка до подписей. Мой же был на настоящем бланке, и лишь печать оказалась скопированной. Эрлих, строго глядя на меня сквозь очки, прочел заключение эксперта: «Печать исполнена с помощью наборного клише». Спросил: «Где вы его раздобыли?» Мне ничего не оставалось, как довольно быстро сознаться, что месяц назад в кафе я познакомился с девицей, причастной к Сопротивлению. Она пообещала найти мою невесту, используя связи в бывшей Зоне, а взамен попросила время от времени переносить какие-то пакеты с кладбища Пер-Лашез на вокзальную явку, где в качестве почтового ящика использовалось углубление в цоколе столба освещения. Мы действительно когда-то пользовались этим, столбом и кашпо на могиле, и Эрлих, проверив, нашел углубление там, где положено. Дальше все шло своим чередом. «Имена, клички, связи?» – спросил Эрлих, и я выложил ему Кло Бриссак, двадцатидвухлетнюю красавицу.

Я считал, что это имя все равно известно гестапо: не могли же они проворонить клочок в удостоверении?... И как же был я разочарован, вспомнив вдруг, что его там нет и быть не может: скатанную в шарик бумажку я выбросил еще на вокзале!.. Я пил светлое пиво, выставленное Эрлихом в качестве залога взаимопонимания, и, проклиная себя за обмолвку (зачем гестапо знать подлинное имя?), фантазировал относительно кафе и опознавательных знаков для randevu. Это был идиллический день, когда штурмбаннфюрер почти верил Огюсту Птижану и надеялся, что тот, дав ему связную, расскажет еще немало интересного.

Фарфоровый глаз Циклопа, словно пистолетное дуло, целит в мой лоб. Живой правый, с легкой косинкой, устремлен поверх моего плеча.

– Значит, Люка вы не знаете? – повторяет Эрлих и вздыхает. – Жаль... Не сумасшедший же вы в самом деле?

– Как знать, – говорю я.

– Да нет. Гаук не ошибается. Вы симулянт, Одиссей, и, кроме того, изрядная шельма! И все-таки вы все расскажете. Не мне – Фогелю. Мне вы больше не нужны... Жаль. Слово чести – жаль. Перед вами открывалась неплохая перспектива.

– Секрет?

– Да нет, пожалуй... Будь вы правдивы, мы завтра же расстались бы. Вы сняли б себе новую квартиру, объяснили людям отлучку, – причину нетрудно придумать, – встретились с друзьями и зажили бы, как жили раньше. Время от времени мы виделись бы с вами и определяли дальнейший ход событий.

– Очень мило, – говорю я и выдавливаю улыбочку. – Где-то я читал, что это именуется перевербовкой.

– Дело не в термине.

– Конечно. Потому-то я и настаиваю, что приехал из Марокко за невестой. Вы же убедились: она жила на улице Гренье.

– Да, жила. Еще одна загадка: откуда вам известно имя той, что сбежала еще в сороковом? Вы были в Париже тогда?

Да, Эрлих не простак. Дай ему только вцепиться в шкуру, и он доберется до шеи. Мне и в голову не пришло, что эпизод с отъездом семьи Донвилль обыграется таким вот образом.

– Браво! – говорю я. – Отличный ход, Циклоп!

– Не пытайтесь меня злить.

– Но вам же не нравится... Не врите, Эрлих, и не играйте в непробиваемость. Циклоп – это вас бесит! Ох как бесит!

– Нисколько, – говорит Эрлих спокойно, и я понимаю, что он не притворяется. – Оружие слабого – издевка. Последняя соломинка...

Телефон на столе – один из четырех полевых квакушек АЕГ – зуммерит протяжно и требовательно.

– А вот и развязка, – говорит Эрлих и берет трубку. – Штурмбаннфюрер Эрлих! Я искал вас, Фогель. Прихватите Гаука и спускайтесь вниз. Сейчас Одиссей догонит вас...

С полминуты он вслушивается в писк, доносящийся из трубки, потом прикрывает чашечку микрофона и доверительно склоняется ко мне. Шепчет:

– Фогель спрашивает, кто такой Одиссей? Объяснить? Или лучше сделать ему сюрприз? – и в микрофон: – Сами увидите, штурмфюрер!

Еще минута уходит у Эрлиха на то, чтобы вызвать конвой, подписать бумажку о моей передаче с рук на руки, встать и самому распахнуть дверь.

– В случае чего проситесь прямо ко мне, Одиссей. Я буду у себя до глубокой ночи. Советую не затягивать.

Ковровая дорожка в коридоре багрова, словно пропиталась кровью. Дорога на эшафот...

– Сюда, – говорит эсэсовец и подталкивает меня к боковой лесенке. – Не расшибись, здесь крутые ступени.

Дверь – большая, окованная железом. Шляпки гвоздей украшены наконечниками. Кольцо, за которое берется рука конвоира, свет, слова:

– Хайль Гитлер! Штурмфюрер, один арестованный в ваше распоряжение!

Очень много света от трех ламп под потолком. Темные балки с ввинченными в них крюками. В свое время в подвале, подвешенные за крюки, хранились окорока, колбасы и пармезан в сетках. В подвале еще и сейчас пахнет сыром.

Даже если я выдержу все, двадцать пятого кассир вскрыет сейф в банке. Он связан с Сопротивлением, милый Дон-Кихот, но инструкция и присутствие директора и бухгалтера

заставят его передать портфель в Булонский лес. Два листка зашифрованных записей. Одна надежда – что они окажутся не по зубам криптографам гестапо!..

Я даю Фогелю усадить себя на табурет и бессмысленно разглядываю лежащие на эмалированном подносе инструменты. Кусачки, изогнутые щипцы, какие-то спицы с хромированными наконечниками. Гаук, приветственно помотав головой, щупает пульс, сверяясь с часами.

– Я думал, вы психиатр, – говорю я.

– Чему не научишься! – говорит Гаук и отпускает мою руку. – Прекрасный пульс. Можете начинать, Фогель.

Мой палец и спица. Боли нет, только красная капля появляется на кончике фаланги и опадает, лопается, заливая ноготь. Я отдергиваю было руку, но она прихвачена браслетом к скобе на столике, а сам столик врыт в бетон пола... Разве то, что я чувствую, можно назвать болью?!

– Где живёт Люк? – слышу я. – Где живет Люк?

Гаук вытягивает из воротника длинную шею. Кадык его безостановочно снует вверх, вниз и снова вверх. Глаза гауптштурмфюрера расширяются, ноздри трепещут. Он впирается лапой в плечо Фогеля и без усилий отбрасывает его в сторону. В свободной руке Гаука изогнутые щипцы. Я не мог оторвать от них взгляда и кричу, когда щипцы захватывают ноготь и сдергивают его вместе с мясом.

Глава 5

Просто один день. Июль, 1944

Щипцы захватывают ноготь и сдергивают его вместе с мясом. Стук инструментов, падающих на поднос. Крик. Лицо Фогеля и его тяжелое дыхание... Сон повторяет явь, и я, открыв глаза, правой, целой еще рукой стираю пот со лба. Левую руку крючит от долгой несмолкающей боли. Словно кто-то дернул за басовую струну, заключенную в теле, и заставил ее вибрировать...

– Ты жив, Огюст? – спрашиваю я себя, и голос Эрлиха отвечает мне:

– Сомневаетесь, Птижан? Напрасно!

– Штурмбаннфюрер... Какая честь, – бормочу я, не имея сил приподняться. – Располагайтесь поудобнее и почувствуйте себя как дома.

Циклоп сидит боком у меня на ногах и, неглубоко затягиваясь, попыхивает сигареткой. Он в полной форме: черный мундир, серебряный витой погон на плече, довольно толстая колодка орденских планок и Железный крест второго класса у левого кармана.

– Закурите?

– Нет... Никотин вредит здоровью... А впрочем, черт с вами, давайте!

Эрлих лезет в карман и извлекает сразу две пачки – целую и начатую. Щелчком вытряхивает тоненькую «Реемтсма», раскуривает ее и сует мне в рот. Похоже, что и другой карман набит сигаретами – что-то остроугольное оттопыривает его.

– Открываете лавочку, Циклоп?

– Вы о чем?

– Боковые карманы... табачный запас...

– Все острите? Лежите спокойно и старайтесь поменьше говорить. Гаук осматривал вас ночью и сказал, что сердце ни к черту. Еще один сеанс – и крышка.

– Скорее бы, – говорю я без тени иронии.

– Все мы смертны. Гаук едва вытащил вас. Адреналин, кофеин, камфора.

– Не помню.

– Странно было бы, если б помнили! Вы лежали пластом и были бледны, как херувим.

Эрлих кончиком пальца стряхивает пепел на пол. Сдувает крошки с рукава мундира. Золотые очки подпрыгивают на его длинном породистом носу.

– Послушайте, Птижан, – говорит он очень тихо. – Вы не могли бы проявить любезность и не называть меня Циклопом? Не очень-то приятно, когда подчеркивают твой недостаток, а? Согласны?

Поистине что-то перевернулось в этом мире! Я с изумлением всматриваюсь в физиономию Эрлиха. Физиономия как физиономия. Спокойная; нос, искусственный глаз, тонкие бледноватые губы – все на месте, как и полагается. И все-таки происходит что-то странное. Сам воздух комнаты словно бы наполнен растворенной в нем тревогой.

– Вы что, свихнулись, Эрлих? – говорю я с прорвавшейся ненавистью. – Да мне на... на ваши переживания! Или это ход? Новый ход, придуманный вами? Гуманизм, старомодные методы – это было. Попытки тоже. Переходим на интеллектуальную платформу? Так?

– Нет, – говорит Эрлих и проводит рукой по лицу, словно умыв его. – Вы здорово ненавидите меня, Птижан?

– Разумеется!

Эрлих давит сигарету о спинку кровати. Искры падают на одеяло, и по комнате ползет пронзительная вонь.

– Что-нибудь неясно? – спрашиваю я и, забыв о левой руке, пытаюсь пожать плечами.

Попытка дорого обходится мне. Басовая струна, вибрирующая между ладонью и ключицей, натягивается и срывает меня с места. Боль выгибает тело дугой, и стон сам собой процеживается сквозь зубы... Левая рука оплетена бинтом, как заготовка скульптора. На белом – коричневое, ржавое, окаймленное расплывшимся розовым; вчера я потерял сознание окончательно, когда Гаук содрал третий ноготь.

– Воды?

Струна все еще вибрирует, и я мотаю головой: ко всем чертям!

– Выпейте же. Вот упрямец! – Эрлих подносит к моему рту фаянсовую кружку. Зубы стучат о край; вода льется на подбородок, шею, грудь, неся холодок и облегчение.

– Лежите спокойно, Птижан, и помолчите. Глупо пикироваться в вашем положении. Может быть, немного соснете?

– Чего вы хотите, Эрлих?

– Пока ничего.

– Хотел бы верить... Или нет? Или все-таки цель у вас есть? Почему бы вам, например, не сообщить, что вы – в душе, конечно! – симпатизируете мне? Или не попробовать доказать, что штурмбаннфюрер Эрлих – хорошо законспирированный сотрудник Интеллидженс сервис? Я ведь поверю. Тем более если вы шепнете мне какой-нибудь пароль, полученный под третьей степенью от прежних жильцов этой вот комнаты!

– Значит, не поверили бы? – задумчиво говорит Эрлих. – А что, если я скажу, что у доктора прав Эрлиха есть свои расхождения с господином фюрером и рейхсканцлером?

– Боже, как это свежо! Особенно сейчас, когда высадка стала фактом, а союзники вот-вот войдут в Париж.

– В Париж? До этого еще далеко, Птижан. Гораздо дальше, чем вы думаете. Да и не здесь решается судьба войны. Помните мои слова. Фюрер сказал...

– Фюрер? У вас же с ним принципиальные расхождения, Эрлих! Вы на редкость непоследовательны.

Резкая морщина в виде буквы «фау» выпячивается на лбу штурмбаннфюрера.

– Подождите, – говорит он резко и поднимает руку. – Все не так примитивно, Птижан. Наберитесь терпения и послушайте... Вы – шпион. Английский или американский, а вполне возможно, французский или НКГБ. Доказательств «за» у меня целый ворох: фальшивые документы, признание о радисте, нелегальный переход границы, английские деньги... что еще? Не то что зондергеррихт, но любой имперский суд не поколеблется, вынося приговор... Другой вопрос – как вы держитесь? Если не считать двух-трех ошибок, вполне пристойно. Больше того, ваше вчерашнее молчание дало мне право уважать вас. Фогель и Гаук не часто срабатывают вхолостую... А теперь обо мне. Вы ждете, Птижан, что я скажу: война проиграна, и начну рвать рубаху. Не так. До конца далеко, и фортуна изменчива... Но вот какая история. Мой отец – вам не скучно, Птижан? – был очень здоровым и сильным человеком. Не помню, чтобы он болел. И еще он был очень экономным, мой дорогой отец. Он работал на картонажной фабрике Брюнинга обер-мастером, получал шестьдесят марок в неделю и однажды рассудил, что глупо, не болея, вносить двадцать марок каждый месяц в страховую кассу. «Я положу их на твою сберкнижку, Карл», – сказал он мне и так и сделал. Мы все радовались: отец, мать, сестра и я. Больше всех я, само собой. Но вот – слушайте внимательно! – пришел день, и стряслась беда. Понимаете, все предначертано, и все подчинено закону подлости. В цехах у Брюнинга гуляли сквозняки – держать двери открытыми дешевле, чем поставить принудительную вентиляцию, а господин Брюнинг, заметьте, был не меньшим экономом, чем мой драгоценный фатер. Словом, сквозняк, отец не сберегся... и три месяца пневмонии с несколькими кризисами. Врачи, койка в больнице, препараты, сиделка... Тут-то и выяснилось, что отец поторопился выйти из страх-касс. Нам пришлось самим, без чьей-либо помощи, заплатить все до последнего пфеннига! Где сбережения, где моя сберкнижка? Мало того, мать изрядно пораспродавалась, а сестра...

– Пошла на панель? – безжалостно заканчиваю я.

Эрлих на миг теряется.

– Вы!..

– Да нет, это я к слову. Обычно у сентиментальных историй с моралистическими сюжетами бывают вот такие концы. Если я ошибся, примите мои поздравления: рад буду узнать, что ваша сестра уберегла невинность.

– Это пошлость!

– Конечно, – соглашаюсь я, в который раз удивляясь выдержке Эрлиха. – Но и ваш рассказ не менее пошл. Вот его мораль: застрахуйся, даже если уверен, что все будет отлично... Короче, хотя вы и считаете, что война не проиграна, все-таки вам не терпится получить свой полис на случай того-сего. Но я не агент по страхованию!

– Это все, что вы поняли? – устало говорит Эрлих. Он делает паузу и добавляет: – Как вам пришло в голову, что я собираюсь просить? И кого? Вас?

– Меня, – говорю я просто. – Только труд напрасен: я не из Лондона и, конечно же, не из Москвы... И вот что – уберите вон!

– Хорошо, – говорит Эрлих и встает. – Я попробую...

– Что попробуете?

– Уйти. Возьмите сигареты, могут пригодиться...

Нервным коротким движением Эрлих бросает на одеяло коричневую мятую пачку «Реемтсма» и, расправив плечи, идет к двери. Стучит. Дверь не сразу открывается, и в освещенном проеме вырисовывается неправдоподобно огромная фигура солдата вермахта в полевой форме и с автоматом на груди.

– Что надо?

Вот это фокус! Я пялюсь во все глаза, не в силах постигнуть смысла происходящего.

– Я хотел бы выйти, – говорит Эрлих, и руки его бессильно свисают вдоль мундира. – Позовите фельдфебеля.

– Запрещено, – отрезает солдат и отталкивает штурмбаннфюрера в глубину комнаты. – Назад! И не стучать больше!

– Хорошо, – говорит Эрлих и поворачивается на носках. Плечи его опущены.

– Что это? – спрашиваю я, когда дверь закрывается. Эрлих возвращается к кровати и, присев, тянется к пачке. Вытряхивает сигарету и, не закулив, крошит ее в пальцах.

– Что происходит?

– Не знаю, – тускло говорит Эрлих и сыпает табак на пол. – Я, как и вы, под арестом.

Для провокации слишком сложно: рассказ с намеком – это еще укладывается в стандарт; но сцена с переодеванием, мнимый арест – слишком смахивало бы на фарс. Что-то тут не то. Но что именно?

Мысленно я снимаю шляпу перед собой и раскланиваюсь, воздавая по заслугам чутью, еще час назад уловившему в атмосфере комнаты еле ощутимый привкус тревоги. Браво, Огюст!

– В чем вы провинились?

– Ни в чем, – говорит Эрлих, выкрашивая новую сигарету. – Я и сам ничего не понимаю. Вермахт появился в два сорок пополудни, и нам едва дали собраться. Приказ Штюльпнагеля.

Он вплотную наклоняется ко мне, обдав запахом свежего белья.

– Птижан... Я скажу вам то, чего нельзя говорить. Не знаю, правда ли это, но у империи новый рейхсканцлер.

– Что?

– Тише... Ради бога, тише... Вот, прочтите. Майор из штаба Штюльпнагеля вручил нам всем приказ. Под расписку.

Бледные фиолетовые буквы пляшут у меня перед глазами. «Приказ... 1. Безответственная группа партийных руководителей, людей, которые...» Мимо! Дальше! Что там? Вот: «... группа... пыталась использовать настоящую ситуацию, чтобы нанести удар в спину нашей армии и захватить власть в своих интересах». Переворот? Но кем он совершен? Дальше, Огюст! «2... правительство... объявило чрезвычайное положение и доверило мне все полномочия главнокомандующего...» Кем подписано? Не спеши, Огюст, по порядку. «3... вся власть в Германии сосредоточивается в военных руках. Всякое сопротивление военной власти должно быть безжалостно подавлено. В этот смертельный час...» Подписано: «Германской армии генерал-фельдмаршал Витцлебен...»

– Переворот? – говорю я. – Ай-яй-яй! Что ж вы не застрелились, Эрлих? Смерть от пули, утверждают, приятнее, чем в петле! Или вы сомневаетесь, что Гиммлера повесят? Сдается мне, армия не очень любит рейхсфюрера СС и, конечно же, не замедлит вздернуть его, а рядом с ним – и верных его сподвижников.

«Фау» на лбу Эрлиха становится багровым.

– Не ликуйте, Птижан, – говорит он любезно. – Все вернется на круги своя. И раньше, чем вы думаете. Мы, люди СД, будем нужны любой власти.

– А я-то думал, что вас арестовали!

– Так оно и есть... и в то же время мой арест ничего не значит. Заметьте, мне удалось устроить так, чтобы попасть именно к вам, а не в соседнюю комнату или подвал. Не все потеряно. Понимаете...

Конец фразы я пропускаю мимо ушей. Вопросы куда более серьезные, нежели риторика штурмбаннфюрера, теснятся в голове. В Германии переворот. Военные у власти. Что это означает? Капитуляцию? Ни в коем случае. Скорее всего сепаратный мир на Западе, все силы – на Восток. Только так... А где обожаемый фюрер? Прихлопнули?

– Который час? – спрашиваю я механически, не в силах увязать все, столь внезапно свалившееся на Огюста Птижана и, признаться, ввергнувшее его в некоторую растерянность.

– Двадцать три с минутами.

– Сутки...

– Вы о чем?

– Сутки назад я был в подвале. А теперь штурмбаннфюрер Эрлих сидит здесь и сам ждет, не спровадят ли его в помещение с крюками под потолком. Там превосходные крюки, выдержат и быка.

Этой издевкой я прикрываю разочарование, охватившее меня при мысли, что некая идея, – чертовски скользкая! – о которой я думал вчера, и позавчера, и трое суток назад, и в которой заметное место отводилось Эрлиху, вдруг разом обесценилась. От того, что военные дорвались до власти, Огюсту Птижану не станет легче. СД, абвер ли – какая разница? Вся штука в том, что у меня нет сил начать с новым следователем долгий путь, пройденный с Эрлихом...

Эрлих снимает с руки часы и трясет их над ухом.

– Стоят, – говорит он с оттенком изумления. – Черт, поberi, до чего я распустился: забыл завести! Сейчас не двадцать три, Птижан, а больше. Может быть, глубокая ночь. Вы любите ночи, Огюст?

– Утро мне милее.

– Не скажите, ночью тоже хорошо. Темно. Часы привидений и самых смелых фантазий. Мрак помогает вообразить себя всесильным и бессмертным. Недаром все великое и тайное рождается под покровом темноты.

– Прошлой ночью в подвале я этого не заметил.

– Пеняйте на себя, Одиссей! Кто заставляет вас молчать?.. Мой бог! А знаете, Огюст, ваше упорство действительно импонирует мне. Если все станет на места, у нас найдется случай вернуться к этой теме и к притче. Идет?

– Поживем – увидим, – говорю я, прислушиваясь к вибрирующей струне. Она натягивается и натягивается, и физиономия Эрлиха качается, увеличивается в размерах.

«Не смей, Огюст!» – приказываю я себе и прикусываю губу. Сильнее. Еще сильнее. Только бы не обморок! Только не забыть, в бреду которого Огюст Птижан способен сказать много лишнего. Один к тысяче или один к миллиону, что солдат и бумажка с фиолетовыми буквами – фальшивка, атрибуты фарса, изобретенного Эрлихом, чтобы добиться контакта со мной. Но даже если один на миллиард, Огюст Птижан обязан вычислить величину этого шанса и принять его в расчет.

– Не молчите, Эрлих! – прошу я и подтягиваюсь повыше. – Поправьте, пожалуйста, подушку. Вот так... Нет ли у вас в запасе новых, историй? Расскажите мне о Микки; кто она такая, эта шарфюрер Больц?

Шум, невнятный, нарастающий, с вкрапленными в него голосами и клацаньем металла, возникает за дверью, что-то глухо валится; оханье, возня; железный хруст замка и Фогель на пороге.

– Штурмбаннфюрер!

Эрлих разгибается и роняет сигарету.

В полуотворенную дверь мне видно, как трое в черном волокут упирающегося солдата. Огромные сапоги, посверкивая сбитыми подковками, цепляются ногами за выбоины в полу, скребут его; солдат глухо мычит и однообразно охает под ударами.

– Фогель!

Звучный стук сомкнувшихся каблуков. Пронзительное:

– Нашему фюреру... Адольфу Гитлеру – зиг хайль!

– Зиг хайль! – слабым эхом откликается Эрлих и вскидывает руку к плечу. – Зиг хайль! Зиг хайль!

Рот Фогеля перекошен. Штурмфюрер на грани протрации, и слова выбрасываются из него сами собой – отрывистые и наэлектризованные.

– Он жив! Он жив, штурмбаннфюрер!.. Заговор... Рейхсминистр Геббельс выступил по радио... Я первым вырвался – и за вами! Сразу же!.. Штюльпнагель – предатель!

Эрлих разводит плечи в геометрическую прямую; машинально отработанным жестом поправляет портупею.

– Спокойно, штурмфюрер. И ни слова больше! Поднимемся вверх, и вы расскажете все по порядку.

Подбородок Фогеля заостряется: он тянется изо всех сил, не замечая, впрочем, что непослушные ноги перекатывают тело с каблука на носок, пляшут джигу.

– Сигареты, – говорит Фогель. – Вы забыли сигареты. На одеяле...

– Пусть остаются. Ловите спички, Птижан!

Коробок сухо брякается на пол, опережая новую порцию фраз.

– Все-таки, Фогель, мы с ним коротали не один час. Это тот уникальный случай, когда солдат фюрера имеет право проявить снисходительность к врагу. Идемте, Фогель!

Ну и денек!.. Я, конечно, не в восторге от подвала с крюками, но там хоть все ясно. Ни малейшей неопределенности. А сегодняшние неожиданности, не поддающиеся быстрому истолкованию и анализу, кого угодно сведут с ума. Особенно если учесть, что арест Эрлиха обращал в прах идею Огюста Птижана... Хрупкую идею, надо сознаться; но что поделать, если другой нет и, как ни прикидывай, похоже, не предвидится.

Глава 6

«Туман над Кардиффом». Июль, 1944

Да, другой идеи нет и, похоже, не предвидится. Я ломал голову над ней несколько суток и ломаю сейчас, когда мосты сожжены. Так уж я устроен: даже решив что-нибудь, не могу сразу преодолеть колебаний...

– Вы раскаиваетесь, Одиссей?

В голосе Эрлиха звучит предостережение «Не советую вилять!» – расшифровываю я и, озлившись, отвечаю резче, чем следует.

– Лишь бы вы не ушли в кусты!

– Что с вами? Нервничаете?

– Имея вас союзником, легко потерять покой.

– Не преувеличивайте. Не так я страшен, как кажется.

– Еще бы! О крюках в подвале и иголках я всегда вспоминаю с умилением.

– Полноте, Одиссей! Надо же было убедиться, что вы умеете молчать... Может быть, позвоните отсюда?

– Слишком много людей. Поехали... Кстати, о молчании. А если Фогель возьмется за вас, вы-то выдержите?

– Сомневаетесь?

– Сомневаюсь, – серьезно говорю я и глубоко затягиваюсь сигаретой. – Почему вы курите такую дрянь, Эрлих? Суцая трава! Вот что, когда доедем до бульваров, купите мне пачку «Житан». Два франка, не разоритесь.

– Ничего, – говорит Эрлих насмешливо. – Я вычту их из сумм, отобранных у вас при аресте. Вы не против?

– Помнится, несколько дней назад в кафе вы упрекали меня в мелочности. Оказывается, я вправе дать вам сто очков вперед... Который час?

– Без трех девять.

– Доедем до угла и остановимся. Там бар, а в баре телефон.

– Я пойду с вами. И давайте договоримся: без сальто-мортале. Я неплохо стреляю и...

– Можете не продолжать, – говорю я и выплевываю окурочек в окно. Красный светлячок отлетает в сторону, выбросив на лету маленький снопок искр, и исчезает – Эрлих ведет «мерседес», не сбавляя скорости.

Мелкая отвратительная дрожь, родившись внизу живота, подбирается к плечам; правой рукой я баюкаю левую – безобразный белый кокон, подвешенный на бинте. Боль и озноб сопровождают меня третьи сутки подряд, отпуская ненадолго и возвращаясь вновь, цепкие, как клещ. Сдается мне, что Огюст Птижан начинает температуру... Этого еще не хватало!

Голубые неоновые буквы «БАР» глубоко упрятаны под широкий козырек: дань войне и ее черному ангелу – авиации, распластывающей над ночным Парижем свои алюминиевые крылья. Бомбардировок не было, но боши, очевидно, считают, что береженого бог бережет.

– Я пойду с вами, – повторяет Эрлих.

Нос, щеки, очки штурмбаннфюрера, окрашенные неоном, слабо светятся во мраке салона машины. Рукой в перчатке Эрлих небрежно поворачивает баранку, и «мерседес», осев на задние колеса, с ходу замирает, прижавшись к тротуару.

– Хорошо, – соглашаюсь я беззаботно, словно речь идет о пустяке. – Дистанция – двадцать шагов.

– У меня с детства скверный слух.

– Вот как? И все-таки чего не случается! Верите ли, но я знавал мальчишку, который с задней парты слышал, о чем шепчутся на первой.

– Редкая способность!

– А вдруг и вы небесталанны? Вдруг номер телефона и мои слова войдут в ваши уши и застрянут там?

– Хорошо, – говорит Эрлих с раздражением. – Мы же договорились... В баре есть второй выход?

– Конечно.

– Извините, Птижан, но я люблю гарантии. Подождем четверть часа.

Полевой «симменс», ребристый и остроугольный, вклинен на сиденье между мной и Эрлихом. Прижав к уху трубку, штурмбаннфюрер свободной рукой поворачивает выключатель радиотелефона; несколько раз прижимает кнопку зуммера.

– Здесь – Эрлих!.. Шесть человек в машине к бару «Одеон» на улицу Савойяров... Да, шесть человек. Я жду у входа: «мерседес» – номерной знак ЦН семь – ноль один... Повторите!..

– Это не по правилам, – укоризненно говорю я, когда Эрлих кладет трубку в зажимы. – Хорош подарок!

– Побег заключенного тоже не презент.

– С чего вы взяли?

– Наш роман только начинается. Согласитесь, Огюст, обидно было бы расстаться на самом интригующем этапе.

Я делаю оскорбленную мину и демонстративно отодвигаюсь, забыв, что в темном салоне Эрлих не увидит моего лица. В общем, все идет более или менее нормально. Наберемся терпения на пятнадцать долгих минут. Ждать – это я умею.

– Вы бывали в «Одеоне»? – спрашивает Эрлих и протягивает мне портсигар. Я нащупываю сигарету и, не закуривая, сую ее в карманчик пиджака.

– Нечасто.

– Здесь весело? Хорошие вина?

– Как и везде. С вашим приходом в Париже заметно поскучнело.

– Война, Птижан. В Берлине тоже танцуют нечасто.

– Охотно верю!

– Опять? – говорит Эрлих и сердито дует на спичку, крохотное пламя пригибается, лижет его палец. – О черт!.. Слушайте, Птижан, это крайне неразумно – на каждом шагу демонстрировать ненависть к нам. Особенно сейчас.

– Разве? А мне казалось, что молекулы обожания так и струятся из меня. Странно, что вы этого не почувствовали.

Маленькая пикировка всегда скрашивает ожидание. Темный «хорьх» появляется гораздо раньше, чем я предполагал, и сердце Огюста Птижана, не подготовленное еще к встрече, словно бы замирает, чтобы секунду спустя забиться в ритме тамтама.

– Штурмбаннфюрер!..

Слава богу, это не Фогель. Его мне меньше всего хотелось бы увидеть в нашей компании. Кажется, это один из тех, что ездили с нами в кафе.

– Трое станут у входа, – негромко говорит Эрлих, – а трое у задней двери. Поищите во дворе и постарайтесь не перепугать прислугу бара. Никакого шума. Не хватает только, чтобы посетители приняли нас за облаву и начали прыгать из окна. Вы поняли?

– Да, штурмбаннфюрер.

– Ну дерзайте, Птижан!

– Который час?

– Девять десять.

Отличное время. Люк должен быть в кафе «Лампион». Если, конечно, после моего ареста он не исчез, оборвав все связи. Так тоже может быть, и тогда Огюсту Птижану придется худо.

Разом ослепнув и оглохнув, я выбираюсь из машины и на слабых ногах бреду к зеркальной двери «Одеона». Эрлих поддерживает меня под локоть.

Темные тени и пятна – должно быть, те трое, матовая плоскость, слабо освещенная изнутри, писк двери, скользящей на роликах, и вот мы входим в царство зеркал, плюша и прочей забытой мною роскоши. Запах скисшего вина, обычный запах скверного бара, бьет мне в нос.

Бар «Одеон» – не путать с рестораном, носящим то же имя! – третьеразрядное заведение, и швейцара здесь не полагается. Посетители, скупое тратящие франки на выпивку, обязаны сами открывать и закрывать двери. Единственная, кто встречает их, – гардеробщица, всегда немного пьяная и фамильярная. Ее зовут Жужу – вполне подходящее для такого заведения имя. Мы почти знакомы: раза три я сидел в «Одеоне», коротая одинокие вечера. При желании я мог бы уйти с Жужу, как любой из посетителей, но не делал этого и, одеваясь, совал Жужу десять франков просто так. Поэтому она сразу же узнает меня и, игнорируя присутствие Эрлиха, восклицает с восторгом:

– Аллю, Пьер!

– Огюст, – поправляю я.

– Ах да, конечно же... Огюст... Давненько ты не заходил. Дела?

– Пишу поэму, – сообщаю я и треплю Жужу за подбородок. – «Житан» найдется?

– Для тебя всегда!

Эрлих корректно берет меня за локоть.

– Кто эта милашка?

Жужу словно и не слышит. Она привыкла, что обнаженные плечики и маленькая, обтянутая блузкой грудь вызывают повышенный интерес, и научилась отличать настоящих клиентов от ненастоящих. Эрлих – ненастоящий. Сунув мне сигарету, Жужу наконец снисходит и до штурмбаннфюрера. Булавка в галстук и запонки – три приличные жемчужины – производят переворот в ее отношении к нахалу, осмелившемуся сказать «милашка». Правильное произношение Эрлиха с легким акцентом и длинный нос наталкивают маленькую прозорливицу на почти правильный вывод.

– Твой друг из Эльзаса? – спрашивает Жужу. – Скажи ему, чтобы не приставал. Скажет тоже: «мила-а-ашка».

– Ладно, – говорю я. – Все в порядке, Жужу. Телефон работает?

– А что ему сделается.

– Я позвоню, а вы поболтайте.

Я уверен, что Эрлих теперь прилипнет к Жужу и постарается вытянуть у нее все, вплоть до адреса. Разумеется, любые подробности он мог бы узнать и завтра, через людей из Булонского леса, но ставлю сто франков против окурка, что штурмбаннфюреру не терпится поразнюхать, в каких отношениях состоят Огюст Птижан и гардеробщица из «Одеона».

Покачиваясь от слабости, я добираюсь до столика в дальнем углу и плюхаюсь на золоченый диванчик. Телефон стар, как Ной. Облупленный черный ящичек, украшенный фигурной вилкой и покоящийся на четырех птичьих лапках. В допотопной, давно не чищенной трубке долго шуршит и потрескивает, и голос телефонистки едва пробивается сквозь помехи.

– Монпарнас! Говорите номер!

– Аллю, мадемуазель, – сиплю я, прикрыв микрофон ладонью и искоса присматривая за Эрлихом, интимно беседующим с Жужу. – Норд – две тройки – семь – пять.

Только бы не переспрашивала!.. Нет, обошлось.

– Соединяю.

Париж – столица мира, но так и не удосужился перейти на автоматическую связь. В другое время мне это не мешало, но сейчас я проклиная телефонную компанию и советников мэрий, не исхлопотавших в свое время кредитов на реконструкцию.

– Кафе «Лампион».

Ну, господи, благослови!

Отгородившись ладонью от всего мира и от Эрлиха в особенности, я торопливо говорю:

– Кафе? Алло! Соболаговолите позвать мсье Маршана. Да. Мсье Анри Маршан, художник.

Он должен быть в синем зале...

Из трех залов «Лампиона» – синего, зеленого и красного – Люк почему-то предпочитает первый... Пока швейцар пускается на поиски Анри, буркнув в трубку: «Подождите!», я продолжаю наблюдать за Эрлихом и гадаю, услышал ли он хоть слово. Нет, пожалуй. Жужу смеется так, что у Эрлиха должно заложить уши.

Голос Люка возникает в трубке, стряхивая скалу с души Птижана. Вполне свободно могло быть так, что Люк раз и навсегда переменил адреса. Волна благодарности к другу, верящему в меня до конца, захлестывает мое слабое сердце и лишает дара речи.

– Эй, – слышу я. – И долго будем молчать?..

Долгий шуршащий звук – очевидно, Люк дует в трубку.

– Да говорите же!

– Анри?

– Кто это?

– Анри, это я. У меня всего пара минут...

– Огюст?!

Только бы не бросил трубку!.. Будь Огюст Птижан на месте Анри Маршана, он так бы и сделал и к тому же немедленно наострил бы лыжи из кафе. Судите сами: звонит человек, пропавший среди бела дня и, судя по всему, арестованный гестапо, и сообщает, что у него «пара минут»...

– Ну я слушаю, старина!

Словно гора с плеч!..

– Не повторяй ни слова из того, что услышишь, – говорю я, мысленно умоляя Жужу смеяться погромче. – Когда кончим разговор, немедленно уйди из кафе. Переберись на аварийную квартиру. Думаю, что гестапо сейчас переворачивает вверх дном Центральную, отыскивая нас с тобой на линии. Понял?

– Да. Это все?

– Нет. Слушай, Анри. Свяжись с Центром и добейся, чтобы третьего августа Би-Би-Си в первой утренней передаче на Францию вставило фразу: «Лондонский туман сгустился над Кардиффом». Запомнил?

– Да. Слушай, а ты-то где?

– «Лондонский туман сгустился над Кардиффом», – повторяю я настойчиво. – Если фразы не будет, считай, что я окончательно засветился. Двадцать пятого возьми портфель. Понял, Анри?

Краем глаза я вижу, как Эрлих обходит Жужу и делает шаг к столику. Между нами метров десять расстояния, и я еще могу успеть сказать несколько фраз.

– Немедленно уходи!

– Откуда ты говоришь?

– Я арестован, – отвечаю я и слышу короткое «О!» Люка. – Если до пятнадцатого не дам знать о себе, работай один. «Почтовый ящик» – резервный.

Я кладу трубку на вилку и пальцем сдергиваю вниз тугой узел галстука... Кажется, удалось... Уложился ли я в две минуты?... Эрлих, вероятно, поручил своим людям взять разговоры под контроль. Весь фокус в том, успеют ли слухачи за сто двадцать секунд не только установить, с кем соединен «Одеон», но и натравить гестаповцев на кафе. Вряд ли. За две минуты при самой отличной мобильности, при самых быстрых авто и самых тренированных агентах

не осуществить операцию по блокированию «Лампиона» и захвату лица, чьи приметы неизвестны. Люк должен успеть уйти!..

– Все как надо? – говорит Эрлих.

Я киваю и напариваю спички. Где-то у меня должна быть крепкая сигарета «Житан», полученная от Жужу.

– Ваши, конечно, слушали разговор? – говорю я, прикуривая.

– Не будьте ребенком, Огюст. Нет, конечно. Он одинаково опасен для нас обоих. Неужели вы не догадываетесь?

– Ладно, – говорю я и с силой затягиваюсь. – Поехали?

– Пора. Забавная штучка эта Жужу.

– Дайте ей десять франков. От меня.

– Вот, возьмите.

Эрлих протягивает мне две бумажки, которые я, выходя, сую в передник разочарованной Жужу.

– Уже? – спрашивает она.

– Я же сказал: пишу поэму. Ни грамма свободного времени, Жужу!

В «мерседесе» Эрлих сует мне синюю пачку «Житана».

– Цените. Купил для вас у этой шлюхи.

– Она не шлюха.

– Толкуйте, Огюст!.. Впрочем, бог с ней. Значит, третьего августа?

– «Лондонский туман сгустился над Кардиффом», – медленно говорю я и поворачиваюсь к Эрлиху. – Довольны?

Штурмбаннфюрер возится с зажиганием.

– Нормальная сделка, – говорит он минуту спустя, когда мотор наконец заводится.

«Нормальная сделка». Как для кого. Вжавшись в подушку сиденья, я размышляю об этом... «Да нет, – успокаиваю я себя. – Все было логично, Огюст. Четверо суток ты держался – наркотик, подвал, задушевная исповедь в день покушения на Гитлера, все-то ты прошел и не заговорил. У Эрлиха, пожалуй, нет оснований не верить тебе. Хотя бы на пятьдесят процентов. Когда ты попросился наверх и, представ пред ним, предложил разговор с глазу на глаз, он не был удивлен. Он ждал такого разговора, верил, что он будет. По его логике почва была удобрена, и Огюст Птижан обязан был воспользоваться соломинкой для спасения жизни».

– С глазу на глаз? – сказал тогда Эрлих. – Не поздно ли?

– В самый раз, – заверил я его.

Потом, когда я в общих чертах изложил свои соображения, он позволил себе выразить недоумение:

– Вас так заботит престиж?

– Еще бы – сказал я горячо. – Мы выиграем войну, что бы ни случилось. И мне не улыбается попасть под полевой суд и быть повешенным в Уондевортской тюрьме.

– Почему именно в ней?

– Традиции, сэр! – сказал я по-английски. – Британия очень консервативна в своих привычках.

– Ладно, – сказал Эрлих угрюмо. – Это дело нужно обдумать. Такие вещи я не решаю сам. Он позвонил и справился, у себя ли Варбург:

– Спросите бригаденфюрера, примет ли он меня, – ни следа легкомыслия, остреньких разговорчиков – все прочно, обстоятельно, солидно.

– Через два часа мы вернемся к нашим баранам, – сказал Эрлих и отправил меня в подвал, откуда извлек с нордическим педантизмом именно через два часа, ни минутой позже.

– Сейчас вас побреют и оденут, Птижан, – сказал Эрлих, нервно поправляя очки. – Я не хотел бы вести беседу здесь. Мне разрешено совершить с вами прогулку. Куда бы вы хотели поехать? В Венсен?

– Все равно.

Эрлих сам правил «мерседесом»; нас не сопровождали. Я не рассчитывал на подобную снисходительность и спросил Эрлиха: к чему бы это?

– С такой рукой не убежишь, – сказал Эрлих и любезно улыбнулся. – И вам не справиться со мной. Если же вы начнете выкидывать кунштюки, я пристрелю вас, как это ни прискорбно.

– А Варбург?

– Что Варбург? Молчащие агенты противника не представляют для него цены.

На окраине Венсена, к югу от дворца, Эрлих въехал в лес и остановил машину. Достал портсигар и, пересчитав сигареты, протянул мне одну.

– Коньяк был бы уместней, – оказал я.

– Будет и коньяк, – заверил Эрлих серьезно. – Ну, выкладывайте.

Я повторил ему предложение – слово в слово.

– Слишком сложно! – ответил Эрлих, подумав. – Варбург с меня шкуру спустит, если разберется в подоплеке.

– Дело ваше. Но другого предложения не будет.

– А что выиграю я?

– Слушайте, Эрлих! Вы же сами хотели начистоту? Извольте... Вы умны и понимаете, что конец рейха – вопрос времени. Или я наивный чудаковитый, плохо угадывающий смысл притчи, или вам нужен полис. Так?... Вы смелы, но осторожны, Эрлих. Хотите скажу, как я это угадал?

– Ну?

– Шрамы. Бурш без шрамов на лице – это нонсенс. Бурш-юрист – нонсенс вдвойне. В университетах Германии юристы известны как самые отчаянные забияки после медиков.

– Допустим...

– Полис для вас в моих руках, так же как мой – в ваших. Я предлагаю союз. Прочный и взаимовыгодный.

– Проще будет, если вы назовете ваших людей, и мы, повременив, возьмем их, так сказать, перманентно. Вам я устрою побег – мнимый, разумеется, – вы доживете до конца в ореоле славы. Аресты же отнесут на счет того, кто станет первым в вашем списке. Я сам составлю документы.

Дверца была распахнута; я сорвал былинку и растер ее в пальцах, печальный запах травы прилип к коже... Запах родной земли Одиссея.

– Ну нет! – сказал я. – К тому дню, когда вы возьмете третьего или пятого, Лондон получит сто шифровок с предостережением: Птижан предает. Соглашайтесь, Эрлих... Или нет? Впрочем, мне плевать. Подвалом с крюками вы меня не напугаете.

– Пожалуй...

– За чем же остановка? Мне надоело повторяться, но для вас я готов и сто раз подряд растолковывать идею. Слушайте! Вы выпускаете меня, и я работаю под вашим контролем. Для виду я сообщаю Лондону, что сумел завербовать крупного гестаповца, пекущегося о своем будущем после войны. Мотив вербовки таков, что ему поверят. После высадки многие немцы покрупнее вас чином дорого дали бы за гарантии с нашей стороны. Получив согласие, я использую вас как источник. Вы даете хорошую дезинформацию и иногда подлинные данные, чтобы мой босс не переполошился. Затем я осторожно ввожу вас в игру, замыкаю связи и даю возможность гестапо убрать всех, кем оно интересуется. Провалы мы спишем на промахи в конспирации и организационные издержки. Варбургу не обязательно знать, что ваше сотрудничество со мной будет, так сказать, двойным, как и мое с вами. Для него автором комбинации

будете вы, а целью ее – проникновение в резидентуру Птижана и разгром ее, когда вся организация будет «накрыта шляпой».

Эрлих расстегнул пиджак. Булавка в галстук радужно засветилась под солнцем. После того дня, когда Витцлебен и его коллеги чуть не свернули шею фюреру, а Штюльпнагель арестовал парижских гестаповцев, Эрлих в первый раз предстал предо мной в штатском. Двое суток Огюста Птижана не спускали в подвал и не поднимали на допросы, если не считать получасовых вызовов по чисто формальным поводам – все те же Марракеш, путь из Мадрида в Барселону и из Барселоны в Марсель... Если я правильно истолковал этот прозрачный намек, Эрлих выжидал, когда Птижан наконец среагирует на притчу! Я томил его сорок восемь часов – вполне достаточно, чтобы набить себе цену.

– План неплох, – сказал Эрлих и резко притянул меня к себе. – Все на месте, если это Лондон! Где гарантии, что именно Лондон, а не Москва? Или деголлевцы? С ними я не веду переговоров.

– Слишком мелко?

– Не то. Французы – побежденная нация. Они будут мстить.

– Я дам гарантии, – сказал я, не меняя позы. – Придумайте фразу и назначьте день, когда вы хотели услышать ее по Би-Би-Си.

Тогда-то Эрлих и произнес, не особенно задумываясь, глуповатую-таки фразу про лондонский туман и назвал дату – третьего августа. Это была первая и единственная ошибка, допущенная им. До нее все шло гладко, и Огюст Птижан мог верить, что идея принадлежит ему, а не сработана Эрлихом и Варбургом. Не поторопись Эрлих с заготовленной комбинацией слов, я в конце разговора бросился бы на него и заставил бы пустить в ход пистолет. Только так! Ибо Огюст Птижан не имел права затевать игру с гестапо – игру, в которой ему заранее была отведена роль проигравшего. Обмолвка Эрлиха меняла дело, хотя и не исключала риск... Риска оставалось сколько угодно.

– А Варбург? – спросил я. – Странно, он даже не поговорил со мной.

– А зачем? – был ответ. – Бригаденфюрер уверен, что вы мелкая сошка, связанная с Сопротивлением. Козьявка, несущая бог весть что. Я так его ориентировал, а Гаук добавил, что вы сильно смахиваете на душевнобольного. Потому-то мне и удалось доказать, что самое правильное будет подлечить вас и выпустить, посадив в сачок... Когда вы свяжетесь с Лондоном?

– Мне нужно позвонить...

– Идет, – сказал Эрлих решительно. – Пусть это будет первым вкладом в наш пул.

– Акции пополам? – спросил я и засмеялся.

– И дивиденды тоже, – в тон закончил Эрлих.

... «Успел ли уйти Люк?» – думаю я, припав плечом к дверце «мерседеса»; Эрлих ведет машину с сумасшедшей скоростью. Темные улицы проносятся за стеклом, патрульные мотоциклы уступают дорогу. Мы возвращаемся в Булонский лес, сделав первый шаг по пути к неизвестности. Отныне Огюст Птижан «посажен в сачок». Найдется ли в нем дырка, чтобы выбраться наружу? На этот вопрос у меня пока нет ответа.

Глава 7

Есть ли дырка в сачке? Июль – август, 1944

Итак, отныне Огюст Птижан «посажен в сачок». Найдется ли в нем дырка, чтобы выбраться наружу? На этот вопрос у меня пока нет ответа... Двадцать пятое июля, двадцать седьмое... тридцатое... Дни идут за днями, однообразные и изматывающие. Раз в сутки Эрлих присылает конвой, и я поднимаюсь наверх, где выслушиваю набившие оскомину вопросы и выкладываю протокольные стереотипы. Словно сговорившись, мы не касаемся Венсенского леса, «Одеона» и джентльменского соглашения, заключенного с благословения Варбурга. Фогель и Микки присутствуют при допросах, и я замечаю, как методично и умело Эрлих вдальблывает им в головы, что Огюст Птижан – мелкая сошка, случайный для Сопротивления человек, которым если и приходится заниматься, то скорее по инерции, нежели в силу особой необходимости. Микки просто бесится, в десятый раз записывая мой рассказ об обстоятельствах знакомства с семьей Донвилль и приметах Симон, моей невесты. Фогелю Эрлих поручил составлять запросы, и тот ежедневно приносит ворох официальных бумажек из префектур, в коих значится, что интересующие гестапо Донвилли в данных департаментах не проживают. Нудная работенка и бесплодная, поскольку члены семьи благополучнейшим образом перебрались в Касабланку еще в ноябре сорокового. Впрочем, это известно Птижану; для Фогеля же судьба Донвиллей – книга за семью печатями.

Одновременно Фогель занят поисками спекулянта, продавшего Птижану бумажку в два фунта, но и здесь дело стынет на мертвой точке, ибо приметы кулисье, сообщенные мною, с равной долей вероятия можно отнести к доброй половине мужского населения Парижа, а заодно и к самому Фогелю – среднего роста, худощавый, хорошо одевается.

Эрлих нарочито избегает оставаться со мной наедине; он не торопится, понимая, что третье августа так или иначе поставит точку в конце затянувшейся главы. Не сомневаюсь, что Варбург из неведомого мне далека пристально следит за всем происходящим и тоже ждет. Он ведет беспроегрышную игру. Фраза в передаче Би-Би-Си надежнее любого признания Птижана удостоверит гестапо, что перед ними агент Лондона, и не просто агент, но эmissар достаточно высокого ранга, способный заставить правительственную радиостанцию включить в официальную программу галиматью о лондонском тумане. Такое бывает нечасто!

По указанию Эрлиха меня снабдили изрядным запасом «Житана» и толстых крепчайших «Голуаз», и я, излагая свои легенды, окурываю кабинет штурмбаннфюрера отнюдь не фимиа-мом. После безвкусных «Реemtсма» черный табак «Житан» доставляет страстному куриль-щiku Птижану несказанное удовольствие. Не меньшее наслаждение получает он и от того, что по прошествии нескольких суток после двадцать пятого из банка, судя по всему, ничего не передали гестапо, и, следовательно, Люку удалось-таки получить портфель. Ради одного этого стоило затеять возню по сколачиванию пула «Птижан – служба безопасности».

Словом, у каждого из нас свои интересы, и все мы, запасшись терпением, ждем третьего августа.

Одно только плохо – рука. Она болит, и по ночам я скриплю зубами, лежа на спине и глядя в потолок, на котором дремлют, собравшись вокруг лампы, мухи и анемичные бабочки. Как они проникают в заколоченное окно – загадка, но факт остается фактом, и камера переполнена разнообразными чешуйчатокрылыми, навязывающими Огюсту Птижану свое обще-ство. Я рассматриваю их и – в который раз! – думаю об игре, авторами которой в равной степе-ни являемся мы трое – Эрлих, бригаденфюрер Варбург и я.

Я сосу «Голуаз» и размышляю. О чем? Обо всем понемногу. О женщине, так и не ставшей моей женой. О том, что в случае чего Люк возьмет дела в свои руки и Центр не останется без информации. Таблицы связи, лежавшие в портфеле, действуют с первого августа. Без них

рация Люка онемела бы, но теперь все в порядке. Даже если Птижану суждено умереть, Анри Маршан сумеет постепенно восстановить группу. У него есть кончик нити – Кло Бриссак. От нее – звено к звену – Люк доберется до остальных. На это уйдут недели, может быть, несколько месяцев, и все же группа не распадется...

...Нет, все-таки «Голуаз» тоже изрядная гадость! От них дерет горло, а вкусовые пупырышки на языке каменеют, обращаясь в наждак... Я выплевываю окурок и зажигаю «Житан» – эти чуть послабее. Вообще-то я люблю трубочный табак, выдержанный в меду, но с ним Огюсту Птижану пришлось расстаться, равно как и с множеством привычек, навыков и пристрастий. Говоря «Согласен!», я наряду со многим прочим обрекал себя и на воздержание. Умные люди несколько месяцев учили меня тому, как легче расстаться со старым багажом и приобрести новый. Были тысячи способов, годившихся вроде бы на любой случай, но оказавшихся при ближайшем рассмотрении неприменимыми ко мне... О милый Огюст – неповторимая ты индивидуальность! Сколько мучились с тобой товарищи, втолковывая то и се и частенько становясь в тупик, от твоих недостатков! И тем не менее ты многому сумел научиться!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.